НОВЫЙ РОМАН ЛАУРЕАТА ДУБЛИНСКОЙ ПРЕМ

КОЛУМ МАККЭНН

Ослепительно талантливый писатель совершает новый кульбит на ка
«Трансатлантика» — самый пронзительный роман Колума Маккэн
сродни лучшим произведениям Майкла Ондатже и Майкла Каннин
The Oprah Magazine

ТрансАтлантик

Колум Маккэнн
Трансатлантика

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9531946
Трансатлантика: Фантом Пресс; М.; 2015
ISBN 978-5-86471-710-3

Аннотация

Ньюфаундленд, 1919 год. Авиаторы Джек Алкок и Тедди Браун задумали эпохальную авантюру – совершить первый беспосадочный трансатлантический перелет.

Дублин, 1845 год. Беглый раб Фредерик Дагласс путешествует морем из Бостона в Дублин, дабы рассказать ирландцам о том, каково это – быть чужой собственностью, закованной в цепи.

Нью-Йорк, 1998 год. Сенатор Джордж Митчелл летит в Белфаст в качестве посредника на переговорах о перемирии между ИРА и британскими властями.

Мужчины устремляются из Америки в Ирландию, чтобы победить несправедливость и положить конец кровопролитию.

Три поколения женщин пересекают Атлантику ради того, чтобы продолжалась жизнь. Бегут от голода или неспешно переплывают океан в поисках себя. А кто-то просто стоит на берегу и смотрит вдаль. И хрупкой птицей над океаном парит конверт с коротким письмом ирландскому семейству – трансатлантическим письмом, которое сближает всех этих женщин и мужчин сильнее и соединяет их истории надежнее, чем все прошлое Америки и Ирландии, безысходные войны и невероятный мир.

Все линии сойдутся в одной точке, повторив изгибы мировых трагедий. «Трансатлантика» – самый зрелый роман Колума Маккэнна, это глубокое размышление о том, как История поступает с людьми и как люди меняют Историю. В книге многоликая и неоднозначная История выплескивается личными судьбами персонажей, подлинных и воображаемых, – это плотное повествование о жизнях, которые были, есть или могли бы быть, что, в общем, одно и то же.

Содержание

2012 6
Книга первая 7
1919 7
1845–1846 23
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Колум Маккэнн
Трансатлантика

© А. Грызунова, перевод, 2015
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2015

* * *

В «Трансатлантике» история предстает нам условной, близкой и подлинной, и это одно из величайших достоинств романа. Снова и снова Маккэнн открывает удивительное свойство чудесного: оно неотделимо от повседневного.
The Boston Globe

Искусно сотканный гобелен жизни… Книги Маккэнна – редкостное удовольствие.
The Seattle Times

Зачаровывает… Маккэнн тщательно упаковывает свой эпос в относительно небольшую книжку, история сжимается аккордеонными мехами, и в каждой складке ее таится музыка восторга и печали.
The Denver Post

«Трансатлантика» – бесконечно трогательный, по замыслу эпичный, по формату бесстрашный и мастерски написанный роман, в котором прихотливый стиль испытывает на прочность самые границы языка и ложность памяти.
Kirkus Reviews

Блистательно захватывающее странствие, в котором новые идеи и лирические изыски встречаются на каждом шагу.
The Times

Замечательное плетение истории о подлинном и воображаемом. Эту книгу полюбят поклонники Иэна Макьюэна.
Red

Смелый и поэтичный роман… Маккэнн – бесстрашный фантазер.
USA Today

Лиричный роман… неизменно яркая и мощная проза.
The Wall Street Journal

Великолепно написанный роман… Маккэнн мастерски управляет труппой персонажей, в которой реальные лица сосуществуют с вымышленными.
Entertainment Weekly

Захватывающий роман, где поет каждое слово.
Miami Herald

Маккэнн без труда перепрыгивает из столетия в столетие, от одного поколения к другому, с потрясающим мастерством сплетая разные истории, времена и страны. И пусть эта искусность не заслонит прочих достоинств «Трансатлантики» – глубоких портретов персонажей, красоты прозы и чистой мощи повествования.
Houston Chronicle

«Трансатлантика» движется непростой дорогой и распахивается проникновенным повествованием о том, как цунами истории отбрасывает людей на обочину или внезапно вздымает ввысь, – о том, как из поколения в поколение наследуются мечты, амбиции и потери.
The New York Times

«Трансатлантика» – плод тщательных исследований и безрассудной отваги, где талант Маккэнна к восхитительно лиричным краскам расцвел во всей своей красе. Колум Маккэнн – писатель одаренный и обаятельный, пред его изысканной атакой очень трудно устоять.
The Guardian

Летопись не великих людей и великих событий, но элегантных подробностей и личной утраты.
New Statesman

Проза Маккэнна атмосферна и наглядна. Стилистически он отчасти схож с Майклом Ондатже, и влияние Дона Делилло тоже очевидно. Маккэнна привлекают прожитые жизни, и его яркая, прочувствованная проза живет, вздыхает и рыдает. Но главное: его персонажи помнят прошлое и раздумывают о будущем.
The Irish Times

Маккэнн перемешивает факт и вымысел с выверенной точностью подлинного поэта.
Sunday Express

Этот роман посвящается Лоретте Бреннан Глаксмен. А также Эллисон и Изабелле. И конечно, Брендану Бёрку

Автор хотел бы поблагодарить Фонд Джона Саймона Гуггенхайма за грант на изыскания и работу над этой книгой

> *История не умеет онеметь. Ломай ее, лги, прибирай к рукам – история человечества никак не закроет рот. Вопреки глухоте, вопреки невежеству время прошлое длится и длится во времени настоящем.*
> ***Эдуардо Галеано***[1]

[1] Цитируется публицистическая книга уругвайского журналиста и писателя Эдуардо Галеано (р. 1940) «Вверх тормашками: зазеркальный мир для начинающих» (*Patas Arriba: la Escuela del Mundo al Rêvés,* 1998). – *Здесь и далее примеч. перев.*

2012

Дом стоял на берегу озера. Она слышала, как ветер и дождь хлещут водное раздолье, как вода охаживает древесные стволы, протискивается в траву.

Просыпаться стала спозаранку, даже раньше детей. Этот дом стоило послушать. По крыше что-то загадочно скреблось. Сначала думала, крысы бегают, но вскоре выяснилось, что нет, это чайки – швыряют устриц на черепицу, колют раковины. Обычно поутру, иногда после заката.

Глухой стук, затем мгновенье тишины – раковина отскочила, затем звонкий грохот – раковина катится в высокую траву, пятнистую от побелки.

Ударившись острым краем, раковина раскрывалась, а если падала с небес плоско – не ломалась и лежала потом невзорвавшейся бомбой.

Чайки артистично ныряли к осколкам. Ненадолго утолив голод, окрыленными серо-голубыми эскадрами вновь устремлялись к воде.

Затем в доме начиналась возня, распахивались окна, буфеты и двери, и носился озерный ветер.

Книга первая

1919
Облакотень

Бывший бомбардировщик. «Виккерс Вими». Дерево, лен и проволока. Широкая, громоздкая машина, но Алкоку представлялась егозой. Всякий раз гладил ее, залезая в кабину к Брауну. Гибко проскальзывал всем телом. Ладонь на рычаг, ступни на рулевую педаль – и уже как будто воспарил.

Больше всего любил вынырнуть над облаками и лететь в чистом солнечном свете. Через борт смотришь вниз, на тень мимолетом, как она разрастается и съеживается на белизне.

Штурман Браун был невозмутимее – хлопать крыльями стеснялся. Подавшись вперед, сидел в кабине, чутко ловил намеки, оброненные двигателем. Умел провидеть очертания ветра, но доверял лишь тому, что можно потрогать: компасам, картам, ватерпасу в ногах.

В те годы джентльмен уже стал фигурой почти мифической. Великая война контузила мир. С гигантских газетных печатных цилиндров скатилась нестерпимая весть о шестнадцати миллионах смертей. В горниле Европы плавились кости.

Алкок был военным пилотом. Ронял некрупные бомбы из-под фюзеляжа. Аэроплан внезапно легчал. Подпрыгивал вверх, в ночь. Алкок высовывался из открытой кабины и смотрел, как внизу прорастают дымные грибы. Аэроплан выравнивался и поворачивал домой. В такие минуты Алкок жаждал безвестности. Летел во тьме, аэроплан подставлял бока звездам. А затем проступал аэродром, и колючая проволока блистала, точно алтарь в чужедальней церкви.

Браун летал в воздушной разведке. У него был талант к математике полета. Любое небо умел претворить в цифры. И на земле не бросал подсчетов, вычислял новые способы приводить аэропланы домой.

Оба знали достоверно, каково это – когда тебя сбили.

Турки подловили Джека Алкока в дальнем бомбардировочном рейде над заливом Сувла, пулеметным огнем прошили аэроплан, раскурочили пропеллер по левому борту. Алкок и еще два авиатора прыгнули в море, добрались до берега вплавь. В чем мать родила их отконвоировали туда, где турки держали военнопленных. В деревянных клетках, открытых всем ветрам. Рядом сидел валлиец, у него были звездные карты, и Алкок, застряв под усеянным гвоздями небом турецкой ночи, тренировался штурманить: стоило разок глянуть в небо – и он точно знал, который час. Но больше всего на свете ему хотелось копаться в двигателях. Когда перевели в лагерь для интернированных на Гёдизе, обменял шоколад Красного Креста на динамо, шампунь – на детали от трактора, из бамбука, болтов, батарей и обрезков проволоки сооружал пропеллеры.

Тедди Браун тоже побывал в плену – на фоторазведке совершил вынужденную посадку во Франции. Одна пуля раздробила ногу. Другая пробила топливный бак. По пути к земле выбросил фотокамеру, порвал карты, раскидал клочки. Посадили биплан на раскисшем пшеничном поле; двигатель вырубить, руки вверх. Из леса прибежал неприятель – выволочь авиаторов из обломков. Браун чуял, как из баков утекает бензин. У одного боша на губе зажженная сигарета. Невозмутимость Брауна вошла в легенды. «Прошу прощения, – оклик-

нул он, однако немец надвигался, пылая сигаретой. – *Найн, найн*»[2]. Облачко дыма вырвалось у немца изо рта. В конце концов пилот Брауна замахал руками и заорал: «Да тормози ты, твою ж мать!»

Немец замер на полушаге, задрал голову, поразмыслил, проглотил горящую сигарету и снова побежал.

Двадцать лет спустя Бастер, сын Брауна, хохотал над этой байкой, сам собираясь на войну. «Прошу прощения. *Найн, найн*». Как будто у немца рубаха из штанов выбилась или развязались шнурки.

Брауна отправили домой еще до перемирия, а затем он потерял шляпу в воздухе над Пикадилли-сёркус. Девушки мазались красной помадой. Подолы у них поднялись почти до колен. Браун гулял по берегу Темзы, шел вдоль реки, пока та не вскарабкалась в небеса.

Алкок добрался до Лондона только в декабре. Посмотрел, как мужчины в черных костюмах и котелках лавируют среди руин. Поиграл в футбол в переулке возле Пимлико-роуд, попинал мячик. Но уже чувствовал, как воспаряет вновь. Закурил, поглядел, как завивается дым – в вышину и с глаз долой.

В Бруклендсе, на заводе «Виккерс», в начале 1919 года, впервые взглянув друг на друга, Алкок и Браун мигом поняли, что обоим нужно начать с чистого листа. Стереть память. Создать новый импульс – свежий, динамичный, безвоенный. Взять свои повзрослевшие тела и вживить туда сердца молодости. Не желали вспоминать невзорвавшиеся бомбы, крушения, пожары, лагерные бараки и тварей из бездны, обитателей тьмы.

Об этом они молчали, а говорили о «Виккерс Вими». Егоза егозой.

Преобладающий ветер дул на восток от Ньюфаундленда, рьяно рвался через Атлантику. Тысяча восемьсот миль океана.

Они прибыли из Англии морем, сняли номера в гостинице «Кокрейн», подождали, пока в порт прибудет «Вими». Аэроплан доставили в сорока семи больших деревянных ящиках. В конце весны. Воздух еще отдавал хлестким морозцем. Алкок и Браун наняли грузчиков – доставить ящики из гавани. Привязали их к лошадям и телегам, аэроплан собирали прямо на летном поле.

Пологий луг на окраине Сент-Джонса – плоскость в триста ярдов, по краю болото, по другому сосняк. Целыми днями сваривали, паяли, шлифовали, сшивали. Бомбовый отсек заменили дополнительными топливными баками. Вот что тешило душу Брауна больше всего. Они использовали бомбардировщик по-новому: выдрали из аэроплана войну, выскоблили всю его кровожадность.

Чтобы выровнять луг, прикручивали детонаторы к запалам, динамитом взрывали валуны, рушили стены и заборы, разглаживали кочки. Наступило лето, однако веяло холодом. По небу струились птичьи стаи.

Через две недели луг был готов. Взглянуть со стороны – земля как земля, но для двух пилотов то был сказочный аэродром. Они расхаживали по травянистой взлетной полосе, подмечали ветер в соснах, искали погодные подсказки.

Полюбоваться на «Вими» стекались толпы зевак. Кое-кто даже на автомобиле ни разу не катался, не говоря о том, чтоб своими глазами увидеть аэроплан. Издали казалось, будто конструкцию срисовали со стрекозы. 42,7 фута в длину, 15,25 в высоту, размах крыла – 68 футов. Весил он 13 тысяч фунтов, считая 870 галлонов бензина и 40 галлонов масла на борту.

[2] «Нет, нет» (*искаж. нем.*).

Одиннадцать фунтов на квадратный фут. На обшивке – тысячи стежков. Вместо бомбового отсека – запас топлива на 30 часов полета. Максимальная скорость – 103 мили в час без учета ветра, крейсерская – 90 миль/ч, посадочная – 45 миль/ч. Два двигателя «Роллс-Ройс Игл VIII» с водяным охлаждением, по 360 лошадиных сил, 1080 оборотов в минуту, двенадцать цилиндров, два блока по шесть, и у каждого двигателя деревянный пропеллер с четырьмя лопастями.

Зеваки оглаживали подкосы, стучали по металлу, зонтиками тыкали в упругий лен крыла. Дети карандашами писали свои имена на брюхе фюзеляжа.

Фотографы накидывали черные тряпки на фотокамеры. Алкок кривлялся перед объективами, ладонью заслонял глаза, точно древний путешественник. «Вижу цель!» – кричал он и с девяти футов спрыгивал в мокрую траву.

Газеты писали, что отныне возможно все. Мир съежился. В Париже создавали Лигу Наций.

У Э. Б. Дубойс[3] созвал делегатов от пятнадцати стран на Панафриканский конгресс. В Риме крутили джазовые пластинки. Радиолюбительские вакуумные лампы передавали сигналы на сотни миль. Еще чуть-чуть – и мы сможем ежедневно читать свежий «Сан-Франциско Экзаминер» в Эдинбурге или Зальцбурге, в Сиднее или Стокгольме.

В Лондоне лорд Нортклифф[4], основатель «Дейли Мейл», пообещал 10 000 фунтов стерлингов пилотам, которые первыми пересекут Атлантику и приземлятся на том или другом берегу Желали попытаться еще минимум четыре экипажа. Хокер и Грив[5] уже рухнули в воду Другие – например Брэкли и Керр[6] – окопались на аэродромах вдоль побережья и ждали перемены погоды. Перелет надлежало совершить за семьдесят два часа. Без посадок.

Ходили слухи о богатом техасце, который тоже хотел рискнуть, и о венгерском принце, и, что всего хуже, об одном немце из Имперских ВВС, который в войну летал на дальние бомбардировки.

Поговаривали, что редактор отдела очерков «Дейли Мейл», подчиненный лорда Нортклиффа, от одной мысли о победе Германии заработал язву.

– Бош! Бош, прах его побери! Да упаси нас господь!

Отправил газетчиков разведать, возможно ли, чтобы враг и после поражения очутился в голове гонки.

В подвале на Флит-стрит, подле отливных машин для горячего набора он расхаживал туда-сюда, так и эдак переиначивая будущие заголовки. На подкладку пиджака жена пришила ему британский флаг, и редактор щупал его, точно святую реликвию.

– Давайте, ребятки, – бубнил он себе под нос. – Ать-два. Ну-ка домой, родина заждалась.

По утрам авиаторы просыпались в гостинице «Кокрейн», завтракали овсянкой, яичницей, беконом и гренками. Потом петляли крутыми улицами и Лесной дорогой выезжали на луг, отороченный изморозью. Ветер с моря кидался на них и кровожадно кусался. Авиаторы

---

[3] Уильям Эдвард Бёргхардт Дубойс (1868–1963) – американский социолог, историк и писатель, защитник гражданских прав чернокожего населения, борец с расизмом.

[4] Альфред Чарльз Уильям Хармсворт, 1-й виконт Нортклифф (1865–1922) – британский издатель, газетный магнат, владелец газет «Дейли Мейл» и «Дейли Миррор».

[5] Австралийский летчик-испытатель Гарри Джордж Хокер (1889–1921) и Кеннет Маккензи Грив (1880—?) попытались пересечь Атлантику на биплане *Sopwith Atlantic* и 18 мая 1919 г. вылетели из Маунт-Перл (Ньюфаундленд); на 15-м часу полета двигатель перегрелся, пилоты сменили курс и попались на глаза экипажу датского грузового судна, которое их и подобрало. Хокер и Грив получили от лорда Нортклиффа утешительный приз в 5 тысяч фунтов стерлингов.

[6] Экипаж под командованием Марка Эдварда Фредерика Керра (1864–1944) планировал перелететь Атлантический океан на бомбардировщике «Хэндли Пейдж», однако Алкок и Браун его опередили, и перелет не состоялся.

вшили в комбинезоны провода, чтобы греться от аккумулятора; подбили мехом наушники шлемов, перчатки, сапоги.

Миновала неделя. Затем две. Их не пускала в небо погода. Облачность. Гроза. Прогноз. По утрам оба тщательно брились. Ритуал исполнялся у дальнего края луга. В брезентовой палатке разжигали газовую горелку, грели на ней воду в стальном тазу. Вместо зеркала – металлический колесный колпак. В бортовой аптечке припасены бритвы: если приземлятся в Ирландии, нужно быть свежими, прилично выбритыми, импозантными гражданами Империи.

Июньские вечера затягивались, а авиаторы повязывали галстуки, сидели под крылом «Вими» и красноречиво беседовали с канадскими, американскими и британскими газетчиками, что собрались посмотреть на взлет.

Алкоку исполнилось двадцать шесть лет. Из Манчестера. Гибкий, дерзкий красавец, из тех, кто глядит вперед, но всегда готов посмеяться. Рыжая шевелюра. Холостяк: говорил, что женщин любит, но предпочитает двигатели. Не было для него большей радости, чем разобрать на детали нутро «роллс-ройса», а потом собрать заново. Делился с газетчиками своими бутербродами, и на хлебе оставались масляные отпечатки его пальца.

Браун сидел на деревянном ящике подле Алкока. В свои тридцать два уже выглядел стариком. Нога больная – ходил с тростью. Родился в Шотландии, но вырос под Манчестером. Родители были янки, и Браун говорил с легким американским акцентом, который пестовал как только мог. Себя считал гражданином Атлантики. Читал антивоенные комедии Аристофана и не отрицал, что прожил бы счастливую жизнь в вечном полете. Бобыль, но не любил одиночества. Кое-кто отмечал, что Браун похож на викария, но глаза его блистали синевой далеких далей, и с недавних пор он был помолвлен с молодой лондонской красоткой. Писал Кэтлин любовные письма, говорил, что не прочь зашвырнуть свою трость к звездам.

– Боже милостивый, – удивился Алкок. – Что, прямо так и сказал?

– Так и сказал.

– А она что?

– Ну ее, говорит, эту трость.

– Ага! По уши, значит.

На пресс-конференциях за штурвалом сидел Алкок. Браун штурманил молча, щупая галстучный зажим. Во внутреннем кармане всегда носил флягу с бренди. Иногда отворачивался, приоткрывал полу, отпивал.

Алкок тоже пил, но в полный голос, публично и от души. Облокотившись на стойку в гостиничном баре, до придури фальшиво голосил «Правь, Британия».

Местные – в основном рыбаки да несколько лесорубов – грохотали кружками по деревянным столам и распевали песни о возлюбленных, затерянных в море.

Спевки продолжались далеко за полночь, когда Ал кок и Браун уже отправлялись на боковую. Даже на четвертый этаж к ним долетали печальные ритмы, что разбивались волнами хохота, а затем, еще позже, пианино гремело регтаймом «Кленовый лист»[7]:

Мужик, ты вали отседа,
Я гипнотизирую нацию,
Я землю трясу до прострации
Регтаймом «Кленовый лист».

[7] «Кленовый лист» (*Maple Leaf Rag*, 1899) – регтайм американского композитора и пианиста Скотта Джоплина, один из первых регтаймов и краеугольный камень жанра в целом.

Алкок и Браун вставали с солнышком и ждали, когда прояснятся небеса. Созерцали погоду. Гуляли на лугу. Играли в рамми. Еще ждали. Нужен теплый день, яркая луна, благоприятный ветер. Прикинули, что на перелет понадобится меньше двадцати часов. О неудаче и не задумывались, но Браун втихомолку написал завещание, все имущество оставил Кэтлин, конверт хранил во внутреннем кармане.

Алкок завещанием не озаботился. Вспоминал ужасы войны, по сей день порой изумлялся, что вообще способен проснуться.

– Меня теперь ничем не пронять.

Он хлопнул «Вими» по фюзеляжу посмотрел, как вдалеке на западе сгущаются тучи.

– Разве что еще дождичка подбавить.

Погляди вниз – глаза вбирают череду труб, и оград, и шпилей, ветер серебристыми волнами зачесывает травяные челки, река захлестывает канавы, две белые лошади вольно скачут полем, длинные гудронные шарфы растворяются в грунтовках – лес, кусты, коровники, сыромятни, верфи, рыбацкие хижины, тресковые фабрики, благоденствие, мы плывем в море адреналина, и… Бщди! Тедди, вон там, внизу, шлюпка на речке, и на песке одеяло, и девчушка с ведерком и совочком, и женщина закатывает подол, а вон там, смотри, паренек в красном свитере гонит ослика по берегу, давай, развернись еще, порадуй мальчонку, пускай ему тенек будет…

Вечером 12 июня – еще один тренировочный вылет, на сей раз ночью, чтобы Браун примерился к сомнеровым линиям. Одиннадцать тысяч футов. Кабина открыта небесам. Жуткая стужа. Авиаторы ежатся за ветровым стеклом. Подмерзают даже кончики волос.

Алкок щупает машину – ее вес, наклон, центр тяжести, – а Браун расчисляет. Внизу их поджидают газетчики. На летном поле стоят свечи в бурых бумажных пакетах – размечают посадочную полосу. При посадке «Вими» сдувает свечи, и они подпаливают траву. Местные мальчишки бегут с ведрами тушить.

Авиаторы вылезают из аэроплана под редкие аплодисменты. Как ни удивительно, серьезнее всех – местная газетчица Эмили Эрлих. Не задает ни единого вопроса, лишь стоит рядом в этой своей вязаной шапке и перчатках, строчит в блокнот. Коренастая, не по моде крупная. За сорок, а то и за пятьдесят. По размокшему аэродрому ступает грузно. Опирается на деревянную палку. Щиколотки сильно пухнут. Такие женщины работают в кондитерских или торгуют в сельских лавках, но авиаторы знают, что у Эмили острое перо. Они уже встречались в гостинице «Кокрейн», где она который год живет с дочерью Лотти. Семнадцатилетняя девчонка орудует фотокамерой на редкость легко и стильно, игриво. В отличие от матери высока, худа, резва, любознательна. Чуть что, хохочет и нашептывает Эмили на ухо. Странная парочка. Мать молчит; дочь фотографирует и задает вопросы. Остальные газетчики негодуют – какая-то девчонка вторглась на их территорию, – но вопросы ее умны и тонки. «На какую ветровую нагрузку рассчитана ткань? Каково это – когда под тобой исчезает море? У вас есть зазноба в Лондоне, мистер Ал кок?» Под вечер мать и дочь вместе уходят прочь по полям: Эмили – в гостиничный номер, писать репортажи, Лотти – на корты, часами играть в теннис.

Имя Эмили – в шапке «Ивнинг Телеграм» по четвергам, почти всякий раз сопровождается фотоснимком, сделанным Лотти. Раз в неделю Эмили позволяют писать о чем вздумается: рыболовецкие катастрофы, местные раздоры, политические комментарии, лесозаготовки, суфражизм, ужасы войны. Она славится непредсказуемыми зигзагами рассуждений. Как-то раз посреди статьи о местном профсоюзе двести слов посвятила рецепту фунтового кекса. В другой раз, анализируя речь губернатора Ньюфаундленда, отвлеклась на тонкое искусство хранения льда.

Алкоку и Брауну советовали держать ухо востро: дескать, мать и дочь питают склонность к ностальгии и обладают пылким ирландским темпераментом. Но авиаторам они обе нравятся: Эмили и Лотти, два диковинных оттенка толпы, странные шапки матери, ее длинные платья, ее непонятные приступы немоты, и высокая фигура дочери, и как она несется по городку, а теннисная ракетка бьет ее по ноге.

Кроме того, Брауну попадались репортажи Эмили в «Ивнинг Телеграм» и, пожалуй, ничего лучше он и не читал: «Нынче небо над Сигнальным холмом заленилось. Удары молотка колоколами звенят над аэродромом. Что ни вечер, заходящее солнце все больше походит на луну».

Вылет назначен на пятницу, 13-е. Так авиатор облапошивает смерть: выбери роковой день, выйди сухим из воды.

Повешены компасы, рассчитаны углы, настроена рация, оси обернуты амортизаторами, покрыты шеллаком нервюры, аэролак высушен, очищена вода в радиаторе. Все заклепки, шплинты, стежки проверены и перепроверены. И рычаги насоса. И магнето. И аккумулятор, который согревает их летные комбинезоны. Начищены сапоги. Приготовлены термосы с горячим чаем и растворимым бульоном «Оксо». Упакованы аккуратно нарезанные бутерброды. Списки тщательно размечены галочками. Солодовое молоко «Хорликс». Шоколадные батончики «Фрайз». Каждому по четыре лакричных конфеты. Одна пинта бренди – на крайний случай. В подкладки шлемов они на счастье вставляют веточки белого вереска, сажают под ветровое стекло и привязывают к подкосу за кабиной двух плюшевых зверушек – двух черных котов.

А потом на сцену с реверансом выскакивают тучи, дождь преклоняет колена над землею, и непогода отбрасывает их назад на целых полтора дня.

На почтамте в Сент-Джонсе Лотти Эрлих прыгает по классикам теней на полу, приближается к окошку за тремя перекладинами решетки, и оттуда на нее, приподняв черный козырек, взирает почтмейстер. Лотти придвигает к нему запечатанный конверт.

За пятнадцать центов покупает марку с Джоном Каботом и просит почтмейстера шлепнуть долларовый штемпель для трансатлантической пересылки.

– Ой, – говорит почтмейстер, – у нас, мисс, таких марок уже и нету. Давным-давно распродали.

Ночью Браун долго сидит в гостиничном вестибюле, шлет послания Кэтлин. С телеграфом робок – понимает, что его слова ни для кого не тайна. Посему он формален. Зажат.

Всего-то за тридцать, а по лестнице ходит медленно, сильно тыча тростью деревянные ступени. В желудке плещутся три бренди.

Странный блик играет на перилах, и в резной деревянной раме зеркала на верху лестницы Браун видит Лотти Эрлих. На миг девушка предстает призраком, является из зеркала, затем становится четче, выше, рыжее. Она в ночной сорочке, халате и шлепанцах. И она, и Браун слегка удивлены встречей.

– Вечер добрый, – говорит Браун. Язык у него отчасти заплетается.

– Горячее молоко, – отвечает девушка.

– То есть?

– Несу маме горячее молоко. Не может уснуть.

Он кивает, пальцем касается невидимых шляпных полей, шагает мимо.

– Она никогда не спит.

Щеки у Лотти горят – смущается, думает Браун, что ее застали посреди коридора в халате. Он снова касается невидимой шляпы и, проталкивая судорогу в больную ногу, взби-

рается еще на три ступени; бренди в клочья дерет ему рассудок. Лотти замирает двумя ступенями ниже и говорит церемоннее, чем того требует случай:

– Мистер Браун?

– Да, барышня?

– Вы готовы к объединению континентов?

– Честно говоря, – отвечает Браун, – мне бы для начала сгодилась приличная телефонная линия.

Лотти спускается еще на ступеньку, прижимает ладонь к губам, будто хочет откашляться. Один глаз выше другого, словно в голове давным-давно застрял очень упрямый вопрос.

– Мистер Браун.

– Мисс Эрлих?

– Вас не очень затруднит?

И стреляет глазом в пол. Замолкает, будто на кончике языка замерла стайка мимолетных слов, беглых пустячков, что не вытекут сами по себе и никак их не вытолкнуть. Она стоит, держит их на языке, ждет – не упадут ли. Наверное, думает Браун, она, как и все обитатели Сент-Джонса, хочет покататься в кабине, если вновь случится тренировочный вылет. Решительно невозможно; нельзя тащить в воздух кого попало, тем паче девицу. Даже когда аэроплан стоит на лугу, газетчикам в кабину хода нет. Это ритуал, это суеверие, он попросту не сможет, и вот как ей сказать? Теперь он в ловушке – жертва своих полуночных прогулок.

– Вас не очень затруднит, – говорит она, – если я вам кое-что дам?

– Ну разумеется.

Она одолевает лестницу и бежит по коридору к себе. В белизне халата движется юность ее тела.

Он щурится, трет лоб, ждет. Может, талисман какой? Сувенир? Памятный дар? Вот дурак – зря позволил ей заговорить. Надо было сразу сказать «нет». И пусть. Ушла к себе в номер. Исчезла.

Она появляется в конце коридора, шагает размашисто. В вырезе халата – треугольник белой кожи. Внезапно Брауну остро хочется увидеть Кэтлин, и он рад этому желанию, и этой заблудшей минуте, и странной извилистой лестнице, и гостинице в глуши, и излишку бренди. Он скучает по невесте, вот и все дела. Он хочет домой. Прижаться к ее стройному телу, увидеть, как ее волосы струятся по ключице.

Он сильнее вцепляется в перила; Лотти приближается. В левой руке у нее бумага. Он протягивает руку. Письмо. Всего-навсего. Письмо. Он глядит на конверт. Адресовано некоему семейству в Корке. На Браун-стрит, ты подумай.

– Это мама написала.

– Вот оно что.

– Можете положить в почтовый мешок?

– Ничуть не затруднит, – говорит он, поворачивается, сует конверт во внутренний карман.

Утром они смотрят, как Лотти выходит из гостиничной кухни – рыжие волосы наперекос, халат туго застегнут под горло. Она тащит поднос с бутербродами в мясницкой вощенке.

– С ветчиной, – торжествующе объявляет она, ставя поднос перед Брауном. – Я специально для вас сделала.

– Благодарю вас, барышня.

Она уходит из ресторана, машет через плечо.

– Это же дочка репортерши?

– Совершенно верно.

– Они чуток того, а? – замечает Алкок, натягивая летную куртку, через окно созерцая туман.

Сильный ветер неверными порывами налетает с запада. Авиаторы уже опаздывают на двенадцать часов, но минута настала – туман рассеялся, и долгосрочные прогнозы сулят добрую погоду. Безоблачно. Небо над головою точно написали маслом. Первоначальная скорость ветра высока, но, пожалуй, поуспокоится узлов до двадцати. Потом выйдет славная луна. Под недружное «ура» они забираются в кабину, пристегивают ремни, в который раз проверяют приборы. Краткий салют сигнальщика. Контакт! Алкок дергает рычаг, запускает оба двигателя на максимальной мощности. Машет – велит убрать деревянные башмаки из-под шасси. Механик наклоняется, ныряет под крыло, зажимает башмаки под мышками, выкидывает, отступив. Задирает руки. Двигатели фыркают дымом. Крутятся пропеллеры. «Вими» уставила нос по ветру. Слегка под углом. Вверх по склону. Ну давай, поехали. Дыхание греющегося масла. Скорость, движение. Невероятный рев. Вдалеке маячат сосны. С дальнего края луга дразнит сточная канава. Оба молчат. Никаких «боже правый». Никаких «выше нос, дружище». Они ковыляют вперед, втискиваются в ветер. Давай, давай. Под ними катит махина аэроплана. Как-то нехорошо. Медленно. Вверх. Тяжеловата сегодня егоза. Столько бензина тащит. Сто ярдов, сто двадцать, сто семьдесят. Слишком медленно. Будто сквозь студень ползешь. Теснота кабины. Под коленками пот. Двигатели взревывают. Гнется конец крыла. Трава стелется, рвется. Аэроплан подскакивает. Двести пятьдесят. Слегка приподымается и опускается со вздохом, полосуя землю. Боже правый, Джеки, поднимай ее уже. Край луга окаймляют темные сосны, они все ближе, ближе, еще ближе. Сколько народу вот так погибло? Тормози, Джеки. Поворачивай. Отбой. Скорей. Триста ярдов. Иисусе боже милосердный. Порыв ветра задирает левое крыло, и их слегка кренит вправо. А потом – вот оно. Холодом разрастается ветер под ложечкой. Взлетаем, Тедди, взлетаем, гляди! Легчайший подъем души на малой высоте, аэроплан в нескольких футах над землей, носом вверх, и ветер свищет в подкосах. Высоки ли сосны? Сколько народу погибло? Сколько нас пало? В уме Браун переводит сосны в шумы. Хлест коры. Путаница стволов. Тра-та-та сучьев. Крушение. Держись, держись. От ужаса сводит горло. Они чуточку привстают над сиденьями. Как будто это уменьшит вес аэроплана. Выше, ну давай же. Небо за деревьями – океанская ширь. Поднимай, Джеки, поднимай ее, бога ради, давай. Вот и деревья. Вот и они. Шарфы взлетают первыми, а затем внизу аплодируют ветви.

– Нервишки-то пощекотало! – орет Ал кок, перекрикивая грохот.

Они целятся прямо в ветер. Задирается нос. Аэроплан замедляется. Мучительный подъем над древесными кронами и низкими крышами. Только бы сейчас не заглохнуть. Еще выше. Затем легкий крен. Полегче, приятель. Разворачивай. Величественный поворот – красота и равновесие, неподражаемая твердость. Держит высоту. Крен сильнее. И наконец ветер позади, нос клюет, и они взаправду взлетели.

Они машут сигнальщику, механикам, метеорологам, немногим прочим из тех, кто подзадержался на аэродроме. Нет ни Эмили Эрлих из «Ивнинг Телеграм», ни Лотти: мать и дочь ушли в гостиницу пораньше. Пропустили взлет. Жалко, думает Браун. Барабанит пальцами по изнанке куртки, где прячется письмо.

Алкок утирает пот со лба, машет своей тени у края суши и на половинной мощности уводит аэроплан в море. Золотая береговая полоса. В гавани Сент-Джонса скачут лодки на волнах. Уточки в мальчишечьей ванне.

Алкок берет примитивный телефон, почти кричит в него:

– Эй, старина.

– Да?

– Извини.

– Не слышу. Что?

– Я тебе не сказал.

– Чего не сказал?

Алкок ухмыляется и глядит на воду. Восемь минут в воздухе, высота тысяча футов, попутный ветер – тридцать пять узлов. Внизу раскачивается залив Непорочного Зачатия. Вода – подвижный серый ковер. Заплаты солнца и бликов.

– Да я, понимаешь, плавать не умею.

От одной мысли о высадке в море Браун на миг теряется: бултыхаешься в воде, цепляешься за деревянный подкос, обнимаешься с бензобаками, а те крутятся. Но ведь Алкок доплыл до берега, когда его сбили над заливом Сувла? Много-много лет назад. Да нет, каких лет? Несколько месяцев. Брауну это странно – так странно, что совсем недавно пуля пробила ему бедро, а сейчас, сегодня, он несет этот железный осколок через Атлантику – к свадьбе, к новому шансу. Странно, что он вообще здесь – на такой высоте, посреди бесконечной серости, в ушах ревут двигатели «Роллс-Ройс», влекут его по воздуху. Алкок не умеет плавать? Врет, конечно? Пожалуй, думает Браун, надо сказать ему правду. Никогда не поздно.

Он наклоняется к микрофону, передумывает.

Ровный подъем. Бок о бок в открытой кабине. Уши обдувает ледяным ветром. Браун отбивает телеграмму на берег: «Порядок, начали».

Телефон – провода, обернутые вокруг шей, чтоб улавливать вибрацию. Наушники они запихали под мягкие шлемы.

Двадцать минут в полете; Алкок лезет пальцами под шлем, выдирает громоздкие наушники, швыряет в синеву Уши натерло, губами складывает он.

Браун показывает ему большой палец. Жаль. Теперь не поговоришь – только записками и знаками; но они давно научились читать друг друга: каждый жест – тоже слово, голоса нет, зато есть тело.

Их шлемы, перчатки, куртки и сапоги до колен – с меховой подкладкой. Плюс комбинезоны «Бёрберри». На любой высоте, даже за косым ветровым стеклом, холод будет адский.

Готовясь к полету, Алкок в Сент-Джонсе три вечера просидел в холодильной кладовой. Как-то раз лег на груду мясных свертков, не смог уснуть. Спустя несколько дней Эмили Эрлих написала в «Ивнинг Телеграм», что от Алкока по-прежнему пахнет свежей говяжьей вырезкой.

Она с дочерью стоит у окна третьего этажа, держась за деревянную раму. Поначалу думают, что померещилось, – птица на переднем плане. Но затем доносится слабый рокот двигателей, и обе понимают, что упустили мгновенье – и фотографий тоже нет, – но в странном ликовании наблюдают издали, через линзу гостиничного окна, как аэроплан исчезает на востоке – серебристый, вовсе не серый. «Это победа человека над войной, триумф упорства над памятью».

Голубое небо однотонно и безоблачно. Эмили нравится хлюп, с которым чернила всасываются в перьевую ручку, шорох, с которым закручивается колпачок. «Двое без посадок летят через Атлантику и несут мешок почты, белый льняной мешочек со 197 письмами, особо проштемпелеванными, и если они долетят, это будет первая воздушная почтовая доставка через Атлантику, из Нового Света в Старый». Мысль сверкает новизной: «Трансатлантическая воздушная почта». Эмили ощупывает фразу, царапает ее на бумаге, снова и снова: «Через Атлантику, транс атлант, трансатлантика». Расстояниям наконец-то переломили хребет.

Внизу – плавучие айсберги. Море взлохматилось. Ясно, что назад дороги нет. Теперь дело только за математикой. Превратить топливо во время и расстояние. Оптимально рассчитать мощность. Вычислить углы, ребра, сектора.

Браун отирает влагу с защитных очков, лезет в деревянный ящик позади головы, достает бутерброды, разворачивает вощенку. Протягивает бутерброд Алкоку – тот не снимает одной руки в перчатке с рычага управления. Для Алкока это один из множества поводов разулыбаться: поразительно, что они жуют бутерброды с маслом и ветчиной, приготовленные девушкой в гостинице Сент-Джонса, до которого тысяча с лишним футов по вертикали. Они далеко улетели, и оттого бутерброд еще вкуснее. Пшеничный хлеб, свежая ветчина, легкая горчица, перемешанная с маслом.

Браун тянется назад за горячей флягой чая, отворачивает крышку, выпускает перышко пара.

Сквозь тела прокатывается рев. Временами они различают в нем музыку – ритм, что пробивает от макушки до пяток через грудь, – но вскоре он теряется, растворяется в чистом шуме. Они прекрасно знают, что в полете могут оглохнуть, этот рев застрянет внутри навеки, поселится в телах, и оба они, точно ходячие граммофоны, будут слышать его, даже если сядут на другом берегу.

Держаться проложенного курса – задача для гения и волшебника. Браун штурманит всеми методами, что есть на свете. На полу в кабине – навигационная машина Бейкера. К боку фюзеляжа пристегнут вычислитель курса и дальности. Указатель сноса укреплен под сиденьем, вместе с ватерпасом – измерять крен. К приборной доске приделан секстант. Три компаса, в темноте будут светиться. Солнце, луна, облако, звезды. Даже если все остальное подведет, останется навигационное счисление пути.

Браун встает коленями на сиденье и выглядывает наружу. Вертится, крутится, вычисляет по горизонту, по морю, по положению солнца. На планшете корябает: «Держи ближе к 120, не 140» и едва передает записку, Алкок легонечко подправляет рычаги, уравновешивает аэроплан, держит на трех четвертях мощности, старается не перетруждать двигатели.

Очень похоже на верховую езду – как меняется аэроплан в дальнем перелете, как смещается центр тяжести, когда сгорает бензин, как галопируют двигатели, как машина слушается поводьев рычага.

Примерно каждые полчаса Браун замечает, что «Вими» слегка тяжелеет носом, и смотрит, как Алкок выравнивается, подтягивая на себя рычаг.

Тело Алкока всегда касается аэроплана: ни на секунду не уберешь руки с рычагов. Уже ноют плечи и кончики пальцев: и трети пути не одолели, а боль натягивает все жилы.

В детстве Браун ходил на Манчестерский ипподром смотреть на лошадей. В будни, когда тренировались жокеи, гонял по Солфордскому скаковому кругу, и чем старше становился, тем шире наматывал круги – раздвигал окружность.

В то лето, когда ему исполнилось семь, из Америки приехали наездники «Пони Экспресс», на берегу реки Эруэлл обосновалось шоу «Дикий Запад». Его народ. Земляки его родителей. Американцы. Браун хотел выяснить, кто же он таков.

В полях ковбои раскручивали лассо. Мустанги, бизоны, мулы, ослы, цирковые пони и несколько диких лосей. Он бродил меж громадных размалеванных задников с пожарами в прерии, пыльными бурями, перекати-полем, торнадо. Но удивительнее всех оказались индейцы, что в прихотливых головных уборах разгуливали по чайным Солфорда. Браун ходил за ними хвостом, добивался автографов. Налетающий Гром был из племени черноногих. Его жена Джозефина была ковбой, метко стреляла, носила затейливые кожаные куртки и шестизарядники в кобурах. К концу лета их дочь Бесси слегла с дифтерией, а когда ее

выписали из больницы, вся семья переехала в Гортон, на Томас-стрит, прямо по соседству с дядей и тетей Брауна.

По воскресеньям после обеда Браун на велосипеде катил в Гортон и заглядывал в окно, надеясь увидеть, как блестят монетки на индейском головном уборе. Но Налетающий Гром коротко подстригся, а его жена в переднике стряпала йоркширский пудинг на плите.

Спустя пару часов после взлета Браун слышит тихий щелчок. Надевает защитные очки, наклоняется над бортом, смотрит, как маленький пропеллер радиогенератора бестолково крутится, отламывается и слетает. Никакого больше радио. Вообще никакой связи. Скоро в электрических комбинезонах не останется тепла. Но мало того. Одна поломка чревата другой. Один случай усталости металла – и рискует развалиться весь аэроплан.

Закрывая глаза, Браун видит шахматную доску аэроплана. Вдоль и поперек знает все гамбиты. Тысячу возможных ходов. Себя воображает центральной пешкой, что неторопливо и методично движется вперед. В его незыблемом спокойствии зреет штурм.

Спустя еще час слышен стрекот – Алкоку чудится пулемет «гочкисс». Он глядит на Брауна, но тот уже сообразил. Показывает на правый борт, где трещит и отрывается кусок выхлопной трубы. Она красна, затем бела, затем почти прозрачна. Двигатель выплевывает стайку искр, отламывается кусок защитного металла. На миг подлетает вверх, даже быстрее аэроплана, и уносится в спутной струе.

Не смертельно, но оба смотрят на обломок трубы, и, словно откликаясь, двигатель ревет вдвое громче. Теперь придется терпеть это до посадки, но Алкок знает, как рев усыпляет пилота, как он баюкает, этот ритм, а затем аэроплан рушится в волны. Это яростный труд – Алкок чует машину всеми мускулами. Абсолютное напряжение тела. Утомление рассудка. Избегай облаков. Ищи линию прямой видимости. Подбирай хоть какой горизонт. Мозг изобретает фантомные повороты. Внутреннее ухо уравновешивает углы, и в конце концов не во что больше верить – лишь в мечту добраться до конца пути.

Они входят меж облачных слоев. Без паники. Натягивают меховые шлемы, поправляют защитные очки, шарфами оборачивают рты и подбородки. Ну, поехали. Ужас возможной пурги. Перспектива полета вслепую. Облако сверху. Облако снизу. Летим посередине.

Они взбираются повыше, пытаются увильнуть, но облако не отступает. Они спускаются. Все равно облако. Густая сырость. Просто так не сдуешь. Как дуну, как плюну. Шлемы, лица, плечи влажнеют.

Браун садится поудобнее и ждет, когда прояснится, чтобы нормально проложить курс. Ищет искорки солнца на конце крыла, промельк синевы – найти линию горизонта, быстренько подсчитать, по солнцу прикинуть долготу.

Аэроплан переваливается с боку на бок, притормаживает в турбулентности. Внезапная потеря высоты. Как будто под ними проваливаются сиденья. Снова подъем. Неумолчный шум. Воздушная яма. Сердце сбивается с такта.

Тускнеет свет, в верхнем слое облаков разверзается дыра. Солнце падает, краснея. Внизу Браун мельком видит море. Мгновенный красивый изгиб. Он хватает ватерпас. Наклоняет, выравнивает. Подсчитывает. «Идем приблиз. 140 узлов, в целом по курсу, чуть слишком юго-восточнее».

Спустя двадцать минут набредают на новую облачную громаду. Поднимаются к разрыву между слоями. «К закату над облаками не поднимемся. Подождем темноты и звезд. Можешь выше? Скажем, 60 град.?» Алкок кивает, кренит аэроплан, медленно завивает его сквозь пространство. Красный огонь плюется во мгле.

Они знают, какие шутки играет с разумом облако. Вроде бы летишь ровно, а на самом деле лежишь на боку. Аэроплан опрокинулся, и ты беспечно мчишься к гибели, или он вот-

вот нырнет в океан. Надо глядеть в оба – искать малейшего проблеска луны, или звезд, или горизонта.

«Вот тебе и прогноз», – царапает на планшете Браун, и по отклику Алкока, по мягкому сбросу оборотов, по легкой опаске понимает, что тот тоже встревожен. Под сырой пощечиной непогоды они поднимают воротники. Вверх по ветровому стеклу скользят бусины влаги. Аккумулятор в сиденье между ними по-прежнему слабо пульсирует теплом в проводах комбинезонов, но холод вокруг пронзителен.

Браун встает коленями на сиденье, высовывается, ищет в облаке прореху, не находит.

«Дальность видения ноль. 6500 футов. Летим только по счислению. Надо выбраться выше над облаком. И обогрев тоже отказывает!»

В ушах звенят кости. В черепах застрял грохот. В белой каморке рассудков. Шумовая волна от стены до стены. Временами Браун чувствует, как из нутра головы через глазницы рвутся двигатели – металлический зверь рассвирепел, и теперь от него не скрыться.

Сначала налетает дождь. Потом снег. Ледяной дождь не исключен. Кабина спроектирована так, что пилоты от непогоды защищены, но град может в клочья разодрать ткань крыла.

Они поднимаются – здесь снежок, помягче. Света нет. Легче не стало. Они пригибаются и ежатся, вокруг грохочет гроза. Снова снег. Гуще. Опять спуск. Снежные хлопья обжигают щеки и тают на горле. Вскоре под ногами уже елозит белизна. Если б можно было подняться и посмотреть вниз, они увидели бы, как по воздуху несется открытая каморка с двумя человечками в шлемах. И даже еще страннее. Движущаяся каморка, во мраке, под визг ветра – и два человека, чьи торсы постепенно белеют.

Браун светит фонариком на рычаги позади себя, и выясняется, что снег уже заволакивает шкалу бензинового манометра. Нехорошо. Манометр нужен – не допустить неполадок карбюратора. Браун так уже делал: разворачивался в кабине, рискованно тянулся к манометру – но не в такую погоду. Однако выхода нет. Девять тысяч футов над океаном. Что ж это за безумие такое?

Когда попадается воздушная ямка, Браун косится на Алкока. Держи ровнее. Незачем теперь ему говорить. Старина не умеет плавать. Едва ли разулыбается.

Браун поддергивает перчатки, туже натягивает шлем, повыше поднимает шарф. Разворачивается на сиденье. Больная нога пульсирует. Правым коленом в край фюзеляжа. Затем левое колено, больное. Уцепиться за деревянный подкос, вылезти в налетевший воздух. Холод – хлороформом. Ветер толкает назад. Щеки жалит снег. Отсыревшая одежда прилипла к шее, к спине, к плечам. Сопли из носа – канделябром. Кровь отливает от тела, от пальцев, от мозга. Бросает на произвол судьбы все пять чувств. Теперь осторожненько. Браун тянется в припадочный ветер, но не достает. Куртка слишком громоздкая. Расстегивает молнию, грудью чувствует свист ветра, изгибает спину, кончиком ножа стряхивает снег со стеклянной шкалы.

Господи милосердный. Как холодно. Сердце вот-вот остановится.

Он поспешно сползает на сиденье. Алкок показывает большой палец. Браун торопливо ощупывает провода в комбинезоне. Даже не нужно писать записку Алкоку: «Обогрев сдох». Браун топает – осторожно, чтоб не запачкать карты под ногами. Кончики пальцев горят. Сильно стучат зубы – не ровен час вылетят.

За левым плечом, в деревянном ящичке – фляга с чаем и пинта бренди на крайний случай.

Крышка отвинчивается целую вечность, но затем грудную стенку ошпаривает спиртное.

Они так и сидят в номере, стол по-прежнему под окном – вдруг аэроплан вернется? Мать и дочь вместе наблюдают, надеются. Вестей нет. Радиосвязи нет. На самопальном аэродроме все застыло. Двенадцать часов на лугу тишина.

Лотти машинально стискивает оконную раму Что могло случиться? Зря мать написала этой семье в Корк. Вдруг это их отвлекло? И она соучастница. Не хватало Брауну лишний раз тревожиться, даже по мелочи, зачем она остановила его на лестнице, зачем отдала письмо? Что проку-то? Наверное, они упали. Наверняка упали. Они упали. Я дала ему письмо. Он отвлекся. Они упали. Она прямо слышит, как они падают. Свист ветра в подкосах.

Оконное стекло холодит пальцы. В такие минуты Лотти себе не нравится – чужая манера, пронзительная застенчивость, юность. Хорошо бы шагнуть из себя, из окна, в воздух и вниз. Ах, но в том, пожалуй, и дело? В том, конечно, и суть? Да. Салют вам, мистер Браун, мистер Алкок, где бы вы ни были. Жаль, не сфотографировала. Эврика. Смысл полета. Избавиться от себя. Вполне довольно, чтобы взлететь.

Внизу, в вестибюле, вокруг телеграфа толпятся другие газетчики. Один за другим стучат телеграммы редакторам. Сообщить нечего. Прошло пятнадцать часов. Либо Алкок и Браун приближаются к Ирландии, либо мертвы, сгинули жертвами страсти. Газетчики приступают к первым абзацам, в двух стилях, элегия и ода: «Сегодня – великий день соединения миров… Сегодня – печальный день траура по героям…» – хотят первыми нащупать пульс, но еще сильнее хотят поперед всех дорваться до телеграфа, когда прилетят первые подлинные новости.

Восход не за горами – не за горами Ирландия, – и тут они ныряют в облако, откуда нет исхода. Горизонта нет. Линии визирования нет. Серая ярость. Почти четыре тысячи футов над Атлантикой. По-прежнему темень, луны нет, моря не видать. Спускаются. Снег перестал, но они погружаются в белую громадину. Ты только глянь, Джеки. Ты глянь, как надвигается. Гигантская. Неизбежная. Сверху и снизу.

Проглотила их.

Алкок стучит по стеклу указателя скорости. Тот не колышется. Алкок подправляет рычаг, аэроплан задирает нос. Указателю скорости хоть бы хны. Алкок снова трогает рычаг. Слишком резко. Ч-черт.

Господи боже, Джеки, давай в штопор. Рискнем.

Облако вокруг сгущается. Оба прекрасно понимают: если не вырваться сейчас, уйдут в пике. Аэроплан наберет скорость и разлетится на невероятный миллион кусков. Выход один – держать скорость в штопоре. Держать аэроплан в руках – но и убрать руки.

Давай, Джеки.

Двигатели насмешливо фыркают красным пламенем, и на миг «Вими» застывает, тяжелеет и опрокидывается, будто получила удар по корпусу. Поначалу – медлительнейшее падение. С эдаким даже вздохом. Ну вас, с вашим рывком в небеса, дайте мне упасть.

Одно крыло свалено, другое еще тянет.

Три тысячи футов над морем. В облаке равновесие вкривь и вкось. Неизвестно, где верх. И где низ. Две тысячи пятьсот футов. Две тысячи. В лицо хлещут дождь и ветер. Аэроплан содрогается. Подпрыгивает стрелка компаса. «Вими» крутится. Тела вдавливает в сиденье. Где же небо, где же море? Ориентир. Но нет ничего – лишь густое серое облако. Браун вертит головой. Ни горизонта, ни центра, ни края. Боже мой. Где-нибудь. Хоть где-нибудь. Держи ее ровнее, Джеки.

Тысяча футов, по-прежнему падаем, девятьсот, восемьсот, семьсот пятьдесят. Лопатки вдавились в спинку сиденья. В головах гудит кровь. Шеи отяжелели. Мы вверху? Внизу? В

штопоре. До удара воду можем и не заметить. Расстегнуть ремни. Это конец. Все, Тедди. Тела пришпилены к сиденьям. Браун наклоняется. Сует под куртку бортовой журнал. Краем глаза Алкок замечает. Какой восхитительный идиотизм. Последний поступок пилота. Сохранить подробности. Сладость освобождения – знать, как все произошло.

Стрелка стабильно поворачивается. Шестьсот, пятьсот, четыреста. Ни всхлипа. Ни стона. Облачный рев. Утрата тела. Алкок идет штопором в бескрайней серости и белизне.

Промельк нового света. Иного цвета стена. Замечают спустя долю секунды. Пощечина синевы. Сотня футов. Странной синевы, крутящейся синевы, мы что, вылезли? Синева. А вон там чернота. Мы вылезли, Джек, вылезли! Лови ее. Лови, бога ради. Господи, вылезли. Вылезли, да? Надвигается другая полоса черноты. Темное море застыло навытяжку. Там, где полагается быть воде, – свет. Море там, где должно быть световому венцу. Девяносто футов. Восемьдесят пять. Это солнце. Господи, это же солнце, Тедди, это солнце! Ну вот. Уже восемьдесят. Солнце! Алкок загоняет мощность двигателю в глотку. Открывай. Открывай. Двигатель ахает. Алкок сопротивляется отдаче. Море переворачивается. Выравнивается аэроплан. Еще пятьдесят футов, сорок футов, тридцать, больше нельзя. Алкок косится на океан – внизу галопом несутся барашки. Море плещет брызгами в ветровое стекло. Оба не издают ни звука, пока аэроплан не начинает ровно подниматься вновь.

Они сидят молча, от ужаса окаменев.

Мужик, ты вали отседа,
Минуточку не дыши-ка,
Не светит такого шика
Без регтайма «Кленовый лист».

Потом они станут шутить про штопор, падение, пролет над водой – *если, старина, вся жизнь перед глазами не промелькнула, у тебя, выходит, и жизни-то никакой не было?* – но на подъеме не произносят ни слова. Браун высовывается из кабины и хлопает по фюзеляжу. Хорошая лошадка. Черноногая.

Они летят над водою на пятистах футах, в прозрачном воздухе. А вот и горизонт. Браун достает ветрочет, подправляет компас. Около восьми по Гринвичу. Браун шарит вокруг, ищет карандаш. «Пощекотало нервишки?» – пишет он и добавляет много-много восклицательных знаков. Алкок криво ухмыляется. Впервые за много часов вокруг ни тумана, ни многослойных облаков. Вдали над водою – блеклая, вязкая серость. Браун записывает последние подсчеты. Забрали к северу, но не сильно – мимо Ирландии не промахнутся. Курс – градусов 125, прикидывает Браун, но, делая поправку на отклонение и ветер, устанавливает курс по компасу на 170. К югу.

Внутри поднимается предчувствие – предвкушение травы, одинокого коттеджа на горизонте, а может, стада коров. Надо бы поаккуратнее. Вдоль побережья высокие утесы. Он изучал географию Ирландии: холмы, круглые башни, известняковые просторы, исчезающие озера. Залив Голуэй. В войну об этом пели песни. Пути до Типперэри[8]. Ирландцы – сентиментальный народ. Умирали и пили толпами. Кое-кто – за Империю. Пили и умирали. Умирали. Пили.

Он закручивает крышку на фляге с чаем, и тут на плечо ложится рука Алкока. Еще не обернувшись, Браун понимает, что она перед ними. Вот так запросто.

[8] Имеются в виду песни «(Мой милый) залив Голуэй» ([*My Own Dear*] *Galway Bay*) Фрэнка Э. Фахи и «Путь далек до Типперэри» (*It's a Long Way to Tipperary*, 1912) Джека Джадда; в обеих речь идет об ирландце, который тоскует по родине.

Вздымается из моря, вся из себя невозмутимая: мокрые скалы, темная трава, камень дерево свет.

Два острова.

Аэроплан неторопливо пересекает сушу.

Внизу овца, на спине у овцы – сорока. Овца задирает башку; аэроплан налетает, овца бросается наутек, но еще мгновение сорока сидит у нее на спине; такая странная картина – Браун понимает, что запомнит ее навек.

Чудо взаправдашнего.

В отдалении – горы. Лоскутное одеяло каменных стен. Спиральные дороги. Чахлые деревца. Заброшенный замок. Свиноферма. Церковь. А вон там, к югу, – радиовышки. Двухсотфутовые мачты – четким прямоугольником, склады какие-то, каменный дом на кромке Атлантики. Клифден, значит. Клифден. Станция Маркони. Огромная сеть радиомачт. Авиаторы переглядываются. Без слов. Сажай ее. Сажай.

Они летят над деревней. Дома серы. Крыши черепичны. Улицы необычайно тихи.

Алкок гикает. Отключает двигатели. Закладывает вираж, выравнивается.

Их шлемы аплодируют. Их волосы ревут. Ногти свистят.

Из травы поднимается и воспаряет стая длинноклювых бекасов.

Казалось бы, идеальная посадочная площадка, твердая, ровная и зеленая, однако, снижаясь, они не замечают комья торфа, что лежат окрест пирожными, узкие разрезы в бурой земле, полосы мокрой бечевы по краям, треугольные кучи земли поодаль. Они упускают и деревянные телеги для торфа, что валяются на обочине, побитые ветром и простроченные дождем. Не замечают перекоса торфяных лопат, прислоненных к телегам. И высоты камыша на заброшенных дорогах.

«Вими» направляется к земле. Безупречная траектория. Еще чуть-чуть – и как будто можно зачерпнуть землю руками. Вот и прилетели. Аэроплан застывает в футе над землей. Под рубашками колотятся сердца. Они ждут касания. Скользят по-над травою.

Удар, прыжок. Сели, Джеки, мы сели.

Но мигом чувствуют, что замедляются слишком внезапно. Шасси полетело? Лопнула покрышка? Треснул хвостовой стабилизатор? Ни ругани, ни криков. Без паники. Сердце уходит в пятки. Нырок. И тогда они понимают. Это болото, не просто трава. Живые корни осоки. Они скользят по зелени болота. Почва держит вес аэроплана, они проезжают пятьдесят футов, шестьдесят футов, семьдесят, но потом застревает колесо.

Земля цепляется, «Вими» топнет, клюет носом и задирает хвост.

Их отбрасывает назад, словно от удивления. Нос со всего маху врезается в землю. Хвост подкидывает в воздух. Браун впечатывается лицом в ветровое стекло. Алкок упирается в рулевую педаль, гнет ее чистым физическим усилием. Грудь и плечи простреливает болью. Господи, Джеки, это что такое было? Мы грохнулись?

Тишина – шумом в головах. Громче прежнего. Отчего-то даже вдвое громче. А затем облегчение. Шум растекается по телам. Это что, тишина? По правде тишина? Как грохочет. Скользит сквозь черепные коробки. Боже мой, Тедди, это же тишина. Вот она, значит, какая.

Браун ощупывает нос, подбородок, зубы – цел? Пара порезов, тройка синяков. В остальном ничего. Мы живы. Перпендикулярны, однако живы.

«Вими» торчит из земли, точно дольмен нового мира. Нос фута на два зарылся в болото. Хвост топорщится в небеса.

– Вот тебе и раз, – говорит Алкок.

Он чует – откуда-то тянет бензином. Выключает магнето.

– Живо. Выходим. Вылазь.

Браун хватает бортовой журнал, фальшфейеры, льняной мешок с письмами. Подтягивается, вылезает из кабины. Сбрасывает трость, и она стрелой вгрызается в болото, криво утыкается в почву. Когда он приземляется, ногу жжет. Аллилуйя – земля; он почти удивляется, что она не из воздуха. Ну да – живой дольмен.

У Брауна в кармане комбинезона маленький бинокль. Правая линза запотела, но сквозь чистую линзу он различает, как по болоту, задирая ноги, идут люди. Солдаты. Да, точно – солдаты. А так посмотришь – будто игрушечные, темные на фоне замысловатого ирландского неба. Когда приближаются, Браун видит, какие у них шляпы, и ружья наперевес, и как на ходу подпрыгивают патронташи. Ну конечно – война. Но ведь в Ирландии всегда война, не одна, так другая? Не поймешь, кому и чему доверять. Не стреляйте, думает он. После всего этого – не застрелите нас. *Прошу прощения. Найн, найн.* Впрочем, это свои. Британцы, он уверен. У одного на груди подскакивает фотокамера. Другой явился в полосатой пижаме.

Позади них, вдалеке – лошади и телеги. Одинокое авто. Из деревни потянулись люди, колонна змеится по дороге – крохотные серые фигурки. И ты только глянь. Ты глянь. Священник в белом облачении. Уже ближе. Мужчины, женщины, дети. Бегут. В воскресных нарядах.

Ах да – месса. Значит, все ходили к мессе. Вот почему улицы пустовали.

Запах земли изумительно свеж: так бы и съел, думает Браун. В ушах пульсирует. Тело как будто летит до сих пор. Я, думает Браун, первый, кто разом летит и стоит. Из машины выдрали войну. Он приветственно поднимает мешок с письмами. И они приближаются – солдаты, люди, серая морось.

Ирландия.

Красивая страна. Чуток лютует, правда, людям спуску не дает.

Ирландия.

1845–1846
Свободен

Заря выпустила утро наружу мелкими ползками серого. Туго натянулся швартов на кнехте. Вода плеснула в Кингстаунский пирс. Он шагнул со сходней. Двадцать семь лет. В черном пальто и широком сером шарфе. Волосы забраны высоко и разделены пробором.

Булыжная мостовая промокла. Лошади надышали паром в сентябрьский туман. Дагласс сам отнес кожаный дорожный сундук к экипажу: пока не привык, что ему прислуживают.

Привезли домой к его ирландскому издателю Уэббу. Трехэтажный особняк на Грейт-Брансуик-стрит – одна из фешенебельных дублинских улиц. Он сдался и уступил сундук. Посмотрел, как лакей волочет эту тяжесть. Слуги приветственно выстроились у дверей.

Все утро и далеко за полдень он спал. Служанка налила теплой воды в глубокую чугунную ванну. Насыпала порошков, благоухавших цитрусами. Он снова уснул, проснулся в панике, не понял, где находится. Поспешно вылез. На холодном полу – отпечатки мокрых ног. Полотенце жестко потерло загривок. Он обсушил изваяние своего тела. Широкоплечий, мускулистый, шести с лишним футов росту.

Издали донесся звон церковных колоколов. Пахло торфом. Дублин. Как странно очутиться в Дублине – сыром, земляном, холодном.

Ниже этажом грохнул гонг. Пора ужинать. Он подошел к умывальнику, тщательно побрился перед зеркалом, стряхнул морщины с пиджака, туго повязал шейный платок.

У подножия лестницы, в конце коридора, он замялся, растерявшись, не зная, куда идти. Толкнул дверь. В кухне пар стеной. Служанка ставит блюда на поднос. Такая бледная. От близости ее по рукам побежали мурашки.

– Сюда, сэр, – пробормотала она, мимо него протискиваясь в дверной проем.

Провела его по коридору, с поклоном отворила дверь. В нарядном камине оранжевым скакнул огонь. Зажужжали голоса. На встречу с ним собралось человек десять: квакеры, методисты, пресвитерианцы. Мужчины в черных сюртуках. Женщины в длинных платьях, равнодушные и элегантные, в мякоти шей отпечатки шляпных лент. Когда он вошел, все негромко зааплодировали. Его молодости. Его самообладанию. Склонились ближе, точно добиваясь от него немедленной доверительности. Он поведал им о долгом путешествии из Бостона в Дублин, как его загнали в самую дешевую каюту на «Камбрии», хотя он пытался забронировать первый класс. Шестерых белых мужчин возмутило его присутствие на пассажирской палубе. Угрожали кровопролитием. *Порешить ниггера.* На долю дюйма не дошли до драки. Вмешался капитан, пригрозил выкинуть белых за борт. Даглассу разрешили гулять по палубе, даже произнести речь перед пассажирами. Однако ночевать пришлось в судовом подбрюшье.

Слушатели сумрачно покивали, снова пожали ему руку, сказали, что он добрый христианин, подает великолепный пример. Отвели в столовую. На столе – изысканные приборы и стеклянная посуда. Встал викарий, произнес благословение. Трапеза была превосходна – ягнятина под мятным соусом, – но кусок в горло не лез. Дагласс сидел, попивал воду из стакана, был близок к обмороку.

Попросили сказать речь. Как он был рабом, спал в хибаре на земляном полу, забирался в мешок из-под муки, грел ноги в золе костра. Одно время жил с бабушкой, затем отправился на плантацию. Вопреки закону, его обучили читать и грамотно писать. Читал другим рабам Новый Завет. Работал на верфи с ирландцами. Трижды сбегал. Дважды неудачно. В

двадцать лет спасся из Мэриленда. Стал ученым человеком. Прибыл сюда убедить британцев и ирландцев помочь – уничтожить рабство мирными доводами этического свойства.

Репетировал он довольно – больше трех лет произносил речи в Америке, – но сейчас перед ним уважаемые люди, слуги Господа и империи, в чужом краю. Расстояние обязывает. Потребно говорить ровно то, что хочешь сказать. Разъяснять не свысока.

От нервов хребет расходится по шву. Ладони вспотели. Сердце грохочет. Он не хотел подлизываться. И темнить не хотел. Да, он не первый чернокожий, явившийся в Ирландию с лекциями. Прежде него здесь был Римонд. И Эквиано[9]. Ирландские аболиционисты славны своим рвением. Еще бы – они делят родину с О'Коннеллом[10]. Великим Освободителем. Их пожирала, объясняли ему, жажда справедливости. Эти люди распахнут ему объятия.

Гости смотрели так, будто мимо несется карета и у них на глазах вот-вот перевернется. Между лопаток проползла капля пота. Он замялся. Стиснул кулак, откашлялся в него, платком промокнул лоб. Я завоевал свободу, сказал он, но остался собственностью. Товаром. Невольником. Движимым имуществом. В любую минуту меня могут вернуть *хозяину.* Само слово истекает пагубой. Хочется раскрошить его, растереть в пыль. *Хозяй.* Его могут побить плетьми, его жену – осквернить, его детей – обменять. По сей день некоторые церкви в Америке поддерживают владение людьми – несмываемое пятно на христианской душе. Даже в Массачусетсе его до сей поры гоняют по улицам, бьют, оплевывают.

Я прибыл, сказал он, дабы пробудить хоть одну совесть, но придет день, и совесть эта криком своим разбудит небеса. Я больше не буду рабом.

– Браво, – подал голос какой-то пожилой человек.

Прозвенели неуверенные аплодисменты. Молодой священник бросился жать Даглассу руку.

– Золотые слова.

В комнате всколыхнулось одобрение. Служанка в черном платье потупилась. После чая с печеньем в гостиной Дагласс обменялся рукопожатием с мужчинами, вежливо откланялся. Дамы собрались в библиотеке. Он постучался, опасливо вошел, слегка согнул стан, всем пожелал доброй ночи. Уходя, слышал, как они перешептываются.

Уэбб повел его изогнутой лестницей, неся свечу под рифленым стеклянным колпаком. Их тени сумбурно прыгали по стенным панелям. Умывальник. Письменный стол. Ночной горшок. Латунная кровать. Из сундука Дагласс достал гравюру – портрет жены и детей, поставил у кровати.

– Принимать вас – большая честь, – из дверей промолвил Уэбб.

Дагласс наклонился задуть свечу. Сон не шел. Внутри еще зыбилось море.

Поутру Уэбб возил его по округе в карете. Хотел показать город. Дагласс сидел вместе с Уэббом на козлах, на деревянных досках, открытый всем ветрам.

Уэбб был низенький, худой, строгий, гордый. Кнут применял осмотрительно.

Поначалу улицы были чисты и праздны. Миновали высокую серую церковь. Череду опрятных лавочек. Каналы тянулись ровно и напрямик. Двери ярко раскрашены. Развернулись, направились в центр, мимо университета, парламента, вдоль набережных, к таможне. А дальше город стал меняться. Сузились улицы. Углубились колдобины. Вскоре от мерзо-

[9] Чарльз Ленокс Римонд (1810–1873) – массачусетский общественный деятель, аболиционист; побывал с лекциями на Британских островах в 1840 г., вместе с аболиционистом Уильямом Ллойдом Гаррисоном. Олауда Эквиано (Густавус Вэса, ок. 1745–1797) – лондонский общественный деятель, освобожденный раб, активно выступавший против работорговли, выпустил автобиографию «Любопытное повествование о жизни африканца Олауды Эквиано, он же Густавус Васса» (*The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, Or Gustavus Vassa, The African,* 1789), которая отчасти способствовала принятию британским парламентом закона об отмене работорговли (1807).

[10] Дэниэл О'Коннелл (1775–1847) – ирландский политический деятель, боролся за права ирландских католиков и расторжение унии Великобритании и Ирландии.

сти перехватывало дух. Дагласс никогда не видал подобного, даже в Бостоне. Человеческие нечистоты хлюпали в канаве. Плюхались зловонными лужами. Под заборами меблирашек валялись мужики. Женщины в обносках, хуже, чем в обносках, – сами обноски. Носились босые дети. Из-под карнизов пялились образчики древних руин. Окна пыльные и битые. В проулках шныряли крысы. Во дворе многоквартирника бросили распухший ослиный труп. Бродили узкоплечие собаки. На улицах воняло портером. Устало распевала молодая попрошайка; полицейский сапог наподдал ей по ребрам и отправил восвояси. Она рухнула под ближайшим забором – так и лежала хохоча.

У ирландцев толком нет порядка, отмечал Дагласс, а то и вовсе нет. Карета огибала угол за углом, все сворачивала и сворачивала, из серости в серость. Зарядила морось. Улицы слякотны, колдобины глубже. Скрипичную мелодийку прорезал вопль.

Все, что разворачивалось окрест, тревожило Дагласса, но он жадно всматривался, вбирал без разбору. Уэбб щелкнул хлыстом по лошадиной спине. Процокали назад по Сэквилл-стрит, мимо колонны Нельсона, к мосту и вновь через реку.

От дождя Лиффи покрылась ямочками. Низкая баржа уползала вниз по реке от пивоварни. По набережным свирепо и неуемно носился ветер. По булыжной мостовой шагали рыботорговцы, толкали тележки с вонючими моллюсками.

На карету запрыгнуло мальчишечье племя в тряпье. Семь или восемь мальцов. Разгонялись на колесах, рискованно повисали на кончиках пальцев. Пытались открыть дверцу. Хохот, посадка в лужу. Один обезьяныш перелез, мягко приземлился на деревянные козлы, головой привалился к Даглассову плечу. По шее и лицу мальчика разбежалась красная сыпь. Уэбб умолял не раздавать монеты, но Дагласс сунул мальчишке полпенни. Детские глаза остекленели от слез. Он не отнимал головы от Даглассова плеча, словно его туда приварили. Остальные мальчишки наклонялись с подножки – кричали, толкались, упрашивали.

– За карманами следите! – сказал Уэбб. – Больше монет не надо. Не давайте им больше.

– Что они говорят? – спросил Дагласс.

Шум стоял оглушительнейший: они все как будто скандировали в рифму.

– Не имею представления, – ответил Уэбб.

Он остановил карету у поворота, одним колесом на панели, заорал полицейскому, чтоб разогнал ребятню. Свист затерялся в воздухе. Констебли втроем отодрали детей от кареты. Банда помчалась по улочке. Их крики рикошетили.

– Спасибо, мистер! Спасибо!

Дагласс поднес к плечу носовой платок. Дитя оставило на рукаве пальто длинный ручеек соплей.

Он и подумать не мог, что Дублин таков. Воображал ротонды, колоннады, тихие часовни на перекрестках. Портики, пилястры, купола.

Они въехали в узкую арку и погрузились в хаос женщин и мужчин. Те собрались на митинг в тенях театра. Какой-то рыжий стоял на серебристом бочонке, рявкал про Расторжение[11]. Толпа нахлынула. Смех и аплодисменты. Кто-то в ответ закричал про Рим. Слова пушечными ядрами летали туда-сюда. Дагласс не понимал акцента – или это язык? Это они по-ирландски? Хотелось сойти из кареты, побродить среди них, но Уэбб шепнул, что назревает драка.

Двинулись дальше, разором переулков. Женщина, повесив на шею поднос с капустой, вотще пыталась торговать жухлыми зелеными листьями.

– Мистер Уэбб, сэр, мистер Уэбб, ваша честь!

[11] Имеется в виду расторжение Англо-ирландской унии, которого требовало ирландское национальное движение; уния была частично расторгнута лишь в 1922 г.

Уэбб нарушил собственное правило, дал ей мелкую медь. Женщина спряталась под платком. Как будто молилась на монетку. Из-под платка выбились кудри, влажные и жесткие.

Карету мгновенно окружили. Уэббу пришлось с боем пробиваться сквозь лес протянутых рук. Бедняки были худы и белы – почти как луны.

На Георг-стрит, когда карета проехала мимо, некая дама стиснула ручку зонтика. Газетчик, мельком заметивший Дагласса, написал затем, что заезжий негр весьма щеголеват. Дерзкая шлюха на углу Томас-стрит крикнула, что пускай не кобенится, она посмеется над ним и свистнет следующему. Он поймал свое отражение в витрине, заморозил картинку в сознании, потрясенный этим шансом публичного тщеславия.

Под грозовым ливнем карета кренилась. Дагласс поискал в тучах просвет. Не нашел. Дождь стал гуще. Серый и неотступный. Никто, по-видимому, не замечал. Дождь по лужам. Дождь по высокой кирпичной кладке. Дождь по черепичным крышам. Дождь по самому дождю.

Пересядьте вниз, взмолился Уэбб, обсохните. Дагласс спустился. Сиденья внутри – из мягкой кожи. Ручки на дверцах – матовой бронзы. Он тут как дурак, как трус, в тепле. Надо бы сидеть снаружи, терпеть натиск непогоды, как Уэбб. Он потопал, расстегнул воротник пальто. От тела повалил пар. Под ногами расплывалась лужица.

Когда подъехали к собору, дождь решил переждать. Город раскрылся в полуденном солнце. Дагласс вылез из кареты, постоял на панели. Дети прыгали через скакалку, друг другу выкрикивали стишки. *Одноглазый Патрик Уилкер сделал дочку своей милке, милка изошла на стирки, одноглаз ты до могилки.* Они столпились вокруг, ощупали его одежду, сдернули шляпу, пальцами полезли в волосы. *На хлеву сорока сидит кособоко, у кого тут око жадно и жестоко?* Они трогали его прическу и смеялись: высокая, кустистая, жесткая, неровная. Маленький мальчик сунул прутик ему в кудри и убежал, гогоча. Девочка потянула за полу пальто:

– Мистер! Эй, мистер! Ты из Африки?

Он замялся. Его раньше об этом не спрашивали. Улыбка застыла.

– Из Америки, – сказал он.

– *Христофор Колумб за океан поплыл, меня с собой не взял и про тебя забыл!*

Самому маленькому – года три. Грудка костлявая. Листья в грязных волосенках. Под глазом свежая царапина.

– Пошли, мистер, попрыгай с нами!

Скакалка вертелась, крутилась в воздухе, шлепала по луже, вновь вздымалась, взметала капли на лету.

– Дай шесть пенсов, а?

Неохота лезть в грязь – и так пальто забрызгано. Он глянул на ботинки; придется чистить.

– Ну пожальста, мистер!

– Да ну и пожальста.

Мальчуган плюнул на землю и убежал. Девочка свернула скакалку, согнала остальных детей в кучку, построила, велела помахать на прощание. Несколько заблудших малышей бежали за каретой, пока не отстали – голодные, усталые, вымокшие до нитки.

Чем ближе к дому Уэбба, тем тише улицы. Человек в синей фуражке шагал по панели, зажигая фонари, и те сияли краткой вереницей нимбов. Дома на вид теплы и мягки.

Дагласса пробирал холод. И сырость. Он ботинком постучал по сиденью – согреть пальцы. Скорей бы в дом.

Уэбб с козел загудел клаксоном. Почти тотчас дворецкий распахнул дверь и с зонтиком выскочил на крыльцо. Прошлепал по луже, подбежал к Уэббу, но тот сказал:

– Нет-нет, сначала наш гость, сначала гость, пожалуйста.

Странный запах. Дагласс так и не понял, что это. Сладкий, земляной.

Под конвоем дворецкого взбежал на крыльцо. Привели к камину в гостиной. Накануне вечером он видел огонь, но не заметил, что горит: комья земли.

Выполз из постели – черкнуть записку Анне. Тут требуется благоразумие. Она не умеет ни читать, ни писать, послание произнесет вслух их подруга Хэрриэт. Не хотелось бы Анну оконфузить. *Моя дражайшая. Я в любезных и умелых руках. Гощу у остроумных, дружелюбных, открытых людей. В воздухе сырость; впрочем, она неким манером проясняет рассудок.*

В мыслях развязывались узлы. Оттого лишь, что за ним не гонятся, не надо озираться через плечо, никто не похитит.

По временам я понуждаем бываю замереть в ошеломлении: я более не беглец. С разума пали оковы. Даже в воображении меня больше не поставить на аукционный помост. Я не страшусь звона цепи, щелчка хлыста, поворота дверной ручки.

Дагласс отложил перо, раздвинул шторы пред неподвижным мраком. Ни звука. По улице, на холоде сгорбившись, поспешал одинокий оборванец. Вот и найден уместный эпитет Дублину: *сутулый* город. Дагласс и сам много лет сутулился.

Он вообразил свою гостиную: Хэрриэт вслух читает письмо, Анна в хлопчатом платье и красном платке, руки сложены на коленях, его дети подле ее кресла, застыли, внимая жадно и растерянно. *Шлю тебе неизбывную мою любовь. Фредерик.*

Он плотнее сдвинул шторы, вновь забрался под одеяло, вытянул ноги до края матраца. Пальцам не хватило места на кровати. Юмористическая подробность, подумал он, надо вставить в следующее письмо.

На столе аккуратными стопками – ирландское издание его книги. Новее нового. Уэбб стоял позади, в тени, сцепив руки за спиною. Пристально наблюдал, как Дагласс листает книгу, вдыхает ее аромат. Открыл гравюру в начале, пальцами провел по своему портрету. Уэбб, отметил он, постарался наделить его прямым носом, орлиным профилем, четким подбородком. Им предпочтительно вычистить из него негра. Но, быть может, виноват не Уэбб. Скажем, художник ошибся. Фантазия подвела.

Он закрыл книгу. Кивнул. Посмотрел на Уэбба, улыбнулся. Снова погладил корешок. Ни слова не произнес. От него многого ждут. На любом повороте. Во всяком жесте.

Он помялся, из кармана извлек перо, занес над страницей и подписал первый экземпляр. *Ричарду Уэббу, в знак дружбы и уважения, Фредерик Дагласс.*

В личной росписи таится некая доля самоуничижения; не подобает отпускать перо на волю росчерков.

Я родился в Такахо, что под Хиллзборо и милях в двенадцати от Истона, в округе Толбот штата Мэриленд. Точных сведений о своем возрасте не имею, ибо никогда не видел ни единого подлинного документа, где был бы указан год моего рождения. Несомненное большинство невольников не лучше лошадей знают, сколько прожили на свете, насколько мне известно, хозяевам подобное неведение рабов зачастую весьма желательно.

На дне дорожного сундука он хранил две чугунные гантели. Отлиты для него кузнецом из Нью-Гемпшира – аболиционистом, другом, белым. Каждая – двенадцать с половиной фунтов. Кузнец рассказывал, что отлил их из расплавленных цепей с аукционов, где торго-

вали мужчинами, женщинами и детьми. Объезжал аукционные дома, скупал эти цепи, плавил, создавал из них артефакты. Дабы, говорил, не забывать.

Гантели Дагласс хранил в секрете. Знала только Анна. Впервые их увидев, опустила глаза, но вскоре привыкла: первым делом по утрам, напоследок – ежевечерне. В нем еще жила тоска по временам плотничества и конопачения: усталость, страсть, голод.

Повернул ключ в замке спальни, задернул шторы внахлест, скрылся от дублинских газовых фонарей. Зажег свечу, встал посреди комнаты в одной сорочке.

Он тягал гантели, одну за другой – сначала с пола, затем над головою, – пока на половицы не закапал пот. Глядел на себя в овальное зеркало. Он не распустится. Хотел изнеможения – оно помогало ему писать. Каждое его слово должно нести бремя собственного веса. Он словно поднимал их над головою, затем ронял к кончикам пальцев, заставляя мускулы работать, взрезая разум идеями.

Работа лихорадила его. Он хотел, чтобы все узнали, каково это, когда тебя клеймят; когда кожу твою прожигают чужие инициалы; когда на тебя надевают ярмо; когда во рту железо; когда переплываешь океан на тифозном корабле; просыпаешься на чужом поле; слышишь рыночный гам; чувствуешь удар плети; тебе отрезают уши; ты смиряешься, сгибаешься, исчезаешь.

Вот его работа – уловить все это кончиком пера. Облако белой рубахи испятнано чернильными кляксами. По временам, подбирая слова, он прижимал ко лбу промокашку. Затем, одеваясь к ужину – шейный платок, смокинг, запонки, начищенные ботинки, – он глядел в зеркало и видел синие пятна, размазанные по лицу. Уэбб говорил, что ирландцы называют чернокожих *fear gorm* — синий человек. Дагласс оттирал лицо, руки, ногти. Снова глядел в зеркало, замахивался кулаком, сдерживал удар в последний миг, и кулак дрожал у самого стекла.

Он сошел по дуге лестницы, остановился, наклонился, еще разок влажным кончиком носового платка потер ботинки.

В коридоре с ним поздоровался дворецкий. Дагласс хоть убей не вспомнил бы, как того зовут – Чарльз, Клайд, Джеймс. Ужасно – забыть имя человека. Кивнул дворецкому, зашагал по коридору, в сумрак.

Уэбб на вечера нанял пианиста. Из коридора слышно, как ноты сталкиваются в воздухе. Дагласс любил стандартный набор – Бетховен, Моцарт, Бах, – но слыхал, что появился новый композитор, француз Эдуар Батист; говорят, выступит в Дублине. Надо бы поинтересоваться; такова ныне почти вся его жизнь – интересоваться, не выдавая неосведомленности. Нельзя выставляться невеждой, но и чрезмерная резкость суждений ему не подобает. Тонкая грань. Он пока не понял, допустимо ли выказывать слабость.

Суть интеллекта – постигать, можно ли явить миру глубинный порыв души, жаждущей наставлений, и если да, то когда.

Откроешь щелочку – а вдруг они посветят внутрь, ошеломят его, даже ослепят? Ошибки непозволительны. Это не оправдание высокомерия. Тут дело в самозащите. Разумеется, Уэббу не понять. С чего бы ему? Он же ирландский квакер. Доброжелательный, это правда. Но все его потуги – чистая благотворительность. Не его свобода на кону. На кону его *способность* быть свободным. У Уэбба свои представления касательно того, кто раб, кто не раб и что их разделяет.

Пустяк, подумал Дагласс. Это меня не отравит. Ирландец так радушен. Я здесь гость. Об этом надлежит помнить.

Дворецкий толкнул перед ним дверь. Дагласс ступил в салон, заложив руки за спину, переплетя пальцы. Считал, что в любую комнату лучше всего входить так. Равно почтительно и отрешенно. Он не надменен. Никоим образом. Он лишь высок, полон, прочен.

Накатило острое удивление – он здесь. Он, плотник, судовой конопатчик, обитатель полей. Преодолел такую даль. Оставил жену, возлюбленных детей своих. Слышит, как его ботинки стучат по половицам. В целой комнате мужчин только эти ботинки и шагают. Голос претворился в руки; он постигал теперь, что означает воплотиться. Сквозь него текла энергия. Он прочистил горло, но затем помолчал. Перед ним, припомнил он, члены Дублинского королевского общества. Обладатели высоких воротников и холеных усов. От них веяло древностью. Он оглядел собрание. Над каминами своих сердец такие люди вешают меч. Он повременит обрушивать на них свою ярость.

Он подошел пожать им руки. Запоминал имена. Преподобный Арчибальд. Брат Харрингтон. Позже запишет в дневник. Тонкости этикета, о них не стоит забывать. Произношение. Написание.

– Рад встрече, джентльмены.

– Большая честь, мистер Дагласс. Мы читали вашу книгу. Замечательное свершение.

– Благодарю вас.

– Многому учит. И немало восхищает стилем, не говоря уже о содержании.

– Вы очень любезны.

– Как вам Дублин, по душе?

– Поживее Бостона, да.

Вокруг засмеялись, и Дагласс был благодарен: от смеха рассеялось напряжение тела. Уэбб подвел его к глубокому креслу посреди салона. У стены Дагласс увидел Лили, служанку – она наливала ему чаю. Чай он пил с невероятным количеством сахара. Его слабость: любит сладкое. Лицо Лили над чайником, наполовину высеченное светом, резкое, красивое, гипсовое. Подплыла к нему. Белые прохладные запястья. Тоненькая фарфоровая чашка. Говорят, в тонком фарфоре чай вкуснее. Чашка задрожала в его руках. Чем тоньше фарфор, тем громче дребезг.

Он понадеялся, что держит чашку воспитанно. Поерзал в кресле. Ладони опять потели.

Уэбб представил его собранию. Даже в Америке Дагласс в подобных случаях редко вслушивался. Конфузился. Порой в этих вступлениях его изображали карикатурой: цветной конкистадор, благородный раб, американский Орфей. Неизменно отмечали, что отец его был белым. Будто иначе и быть не могло. Что его разлучили с матерью, с братьями-сестрами, увезли, ненадолго отдали на попечение белым филантропам. Это жизнеописание утомляло Дагласса. Слова в голове растворялись. Он не вникал. Оглядывал лица. Чуял неуверенность, читал в глазах легкий намек на растерянность, наблюдая, как они наблюдают за ним. Раб. В дублинской гостиной. Столь замечательно ухожен.

Он поднял голову и обнаружил, что Уэбб уже закончил. Тишина. Чашка в руках заходила ходуном. Он подождал, пока безмолвие надвинется на смущенных вплотную. Знал по опыту: нервничая, он туже увязывал слова, сильнее, тщательнее.

Дагласс подставил блюдце под чашку.

Я предпочитаю остаться верным себе, даже рискуя вызвать насмешки, нежели себе изменить и разжечь собственное презрение. К самым ранним воспоминаниям я отношу глубочайшее убеждение в том, что не век мне пребывать в пагубных оковах рабства. На своем долгом извилистом пути я ныне разматываю новый клубок и призываю вас, джентльмены, бороться с деспотией, нетерпимостью и тиранией тех, кто, вероятно, не дал бы мне ходу в эту самую комнату.

К концу второй недели он написал Анне, что на земле Ирландии его не называют *ниггером*, ни единого разу – пока, во всяком случае. Почти везде его встречали овациями. Он еще не разобрался, как это понимать; терялся. Нечто кристаллизовалось внутри. Пожалуй,

впервые в жизни он мог обитать в своей шкуре как подобает. Не исключено, что он для них – попросту диковина, но он тянулся к тем, кого здесь встречал, и за все свои двадцать семь лет никогда не видал такого. Он жалел, что этого не видит она.

То была промозглая серая страна под шляпою дождя, но можно шагать по середине панели, или сесть в дилижанс, или вызвать кэб, ни перед кем не извиняясь. Да, повсюду нищета, но уж лучше нищета свободных. Без кнутов. Без цепей. Без клейма.

Сам он, конечно, вращался в высшем обществе, но и в беднейших закоулках не слыхал ни единого желчного слова. Раз или два на него взглянули свирепо, но, возможно, повинно и пальто с высокой шлицей: Уэбб уже отмечал, что одеваться стоило бы чуточку скромнее.

Дверной колокольчик прозвонил долго и лениво. Портной поднял голову, но лавка продолжала деловито гудеть. Вот что более всего удивляло Дагласса: бестревожность. Ни потрясения. Ни суеты. Он зашагал вдоль вешалки с пальто. Наконец портной вышел из-за прилавка и пожал ему руку:

– Добро пожаловать в мое заведение, сэр.

– Благодарю.

– Весь город только о вас и говорит, сэр.

– Мне бы хотелось новый пиджак.

– Разумеется.

– И пальто подлиннее, – вставил Уэбб.

– Я вполне способен одеваться самостоятельно, – промолвил Дагласс.

Они в негодовании уставились друг на друга через бездну магазина.

– Джентльмены, – сказал портной. – Пойдемте.

Уэбб шагнул вперед, но Дагласс ладонью уперся ему в грудь. Воздух заледенел. Уэбб опустил глаза и почти неуловимо улыбнулся. Вынул сафьяновый бумажник, провел по нему пальцами, вновь вложил в карман пиджака.

– Как вам угодно.

Дагласс, громоздкий и грохочущий, следом за портным направился в заднюю комнату. Ножницы, иглы, выкройки. Пыльные мерки и рулоны ткани размотались на столах. Из каких полей пришла эта ткань? Чьи пальцы ее соткали?

Портной подтащил зеркало. Оно крепилось на стойке и ездило на колесах.

Дагласса никогда еще не обмерял белый человек. Портной стоял у него за спиной. Дагласс вздрогнул, когда мерная лента обвила шею.

– Простите, сэр, – холодная, да?

Он закрыл глаза. Пусть измеряет. Грудная клетка, плечи, талия. Он поднял руки – посмотреть, насколько глубока должна быть пройма. Вдохнул, выдохнул. Потрепанная желтая лента легла на шаговый шов. Портной записывал мерки. Почерк мелкий и четкий.

Закончив, портной пальцами стиснул Даглассу плечи, сильно сжал.

– Вы, сэр, если позволите, красивый плечистый человек.

– Говоря по правде…

Он глянул на Уэбба у витрины. Квакер стоял у самого стекла, глядел на реку надсмотрщиком. Лиффи будто хотела унести его на своем бесконечном сером рукаве.

– Я был бы признателен… – сказал Дагласс.

– Да, сэр?

Дагласс снова поглядел на Уэбба.

– Если бы вы еще сшили мне верблюжью безрукавку.

– Безрукавку, сэр?

– Да – у вас, кажется, обычно говорят «жилет».

– Совершенно верно, сэр.

Портной снова развернул его, измерил грудную клетку, свел концы мерной ленты на пупке.

– Впишите это в счет мистеру Уэббу.

– Да, сэр.

– Он любит сюрпризы.

Собирались толпы – солидные, в шляпах, серьезные. В воздушном шаре духов. Выстраивались в очередь у методистских церквей, у квакерских домов собраний, в передних особняков. Он вставал на цыпочки, большие пальцы закладывал в карманы нового жилета.

Под вечер пил чай с Дублинским обществом борьбы против рабства, с Ирландской ассоциацией, с вигами, с «Дружеством за отмену рабства». Осведомлены, умны, в речах отважны, в пожертвованиях щедры. Говорили, что он так молод, красив, обходителен. В очередях, что его поджидали, шуршали платья. Никогда раньше не видел, замечал Уэбб, чтобы на лекции приходило столько молодых дам. Даже католичка-другая из хороших семей. В садах тщательно отобранных домов женщины расправляли юбки на деревянных скамьях и позировали с Даглассом для портретов.

Он старательно поминал жену, детей дома в Линне. Как ни странно, разговор об Анне порой притягивал женщин ближе. Они нависали. Хиханьки, парасольки, платочки. Любопытствовали, каковы нынче моды среди свободных негритянских женщин Америки. Он отвечал, что не имеет понятия, с его точки зрения все платья друг с другом схожи. Они хлопали в ладоши от восторга, коего он не понимал.

Его пригласили на ужин с лорд-мэром. В резиденции блистали канделябры. Потолки высоки. Живопись величественна. Одна комната уводила в другую, как изумительно построенные фразы.

Он познакомился с отцом Мэтью[12], присоединился к движению за умеренность. На улицах Дублина кишмя кишели алкогольные демоны. Он принес Клятву. Возможно, решил он, это привлечет к нему совершенно новую аудиторию. Кроме того, он никогда не пил. Не хотел терять контроль. В алкоголе слишком много от хозяина – стремление усмирить. Расхаживал со значком Рыцаря на лацкане нового пальто. Чувствовал, что стал как будто выше ростом. Втягивал в легкие серый дублинский воздух. Редко оставался в одиночестве. Всегда один или двое вызывались сопровождать. В нырках, кренах и повторах ирландского акцента Дагласс обнаруживал ритм. Проявлял талант к подражанию. *Добрый денек, вашчесть. За бога ради, шесть пенсов гони-ка, сэр?* На приемах восторгались этими пародиями. Был и глубинный мотив: ясно, что подобные мелочи завлекают толпу. *Уж как я рад приехать в старую добрую Ирландию.*

Прожил в Дублине пять недель. Его лицо пропечатали в афишах по всему городу. Газетчики встречались с ним за ранним ужином в отеле «Грешем». Он был *как лев*, писали они, *свирепая, элегантная пантера.* Одна газета прозвала его Темнокожим Денди. Он рассмеялся и порвал газету – а они думали, он одевается в рванье из американского хлопка? Дагласса сопроводили в «Четыре суда», отвели в изысканнейшую столовую, попросили сесть под канделябрами, чтобы лучше было видно. Когда его вводили в зал перед лекцией, овация порой длилась целую минуту. Он снимал шляпу и кланялся.

После все выстраивались в очередь за книгой. Он изумлялся, отрывая глаза от пера и видя колонну замерших в ожидании платьев.

Бывали дни, когда он уставал, сам себе виделся диковинным пуделем на поводке. Удалялся в спальню, вынимал гантели, тягал, пока не впадал в неистовство.

---

[12] Теобальд Мэтью (1790–1856) – ирландский католический священник, монах-капуцин, пропагандист полного воздержания от алкоголя; в 1838 г. в Корке основал Общество рыцарей отца Мэтью.

Как-то вечером на тумбочке у кровати нашел аккуратно сложенный счет за жилет. Не сдержал смешка. Рано или поздно ему выставят счет за все до единой мысли, что его посещали. В тот вечер к ужину надел жилет из верблюжьей шерсти, непринужденно сунул пальцы в карманы, ожидая десерта.

Каждый день находил новое слово; записывал в блокнот, что носил во внутреннем кармане. *Ненасытность. Антагонизм. Финикиец. Слова, некогда встречавшиеся в «Колумбийском ораторе»*[13]. *Радетельный. Декларативный. Предвзятый.*

Впервые, еще в детстве, открыв язык, он словно ножом взреза́л древесную кору. Ныне же требуется осторожничать. Оговорки недопустимы. В конце концов, за ним наблюдают Уэбб и прочие: корень, цветок, стебель. Во что бы то ни стало держи нервы в узде. Таинственной алхимией языка вызывай истории к жизни. Атлантика. Атлант. Альтитуда. Вздымая образ народа своего к небесам, он порой шатался под этим бременем.

В Ратфарнэме он все гремел. Говорил об истязателях женщин, похитителях мужчин, мародерах колыбелей. О торговцах плотью и свинопасах. О трезвых пьяницах, грабителях человеков. О бесконечном равнодушии, фанатичной ненависти, ненасытной злобе. Я прибыл в Ирландию, говорил он, добиться всемирного избавления, внедрить мораль в общество, приблизить день освобождения трех миллионов моих порабощенных братьев. Три миллиона, говорил он. И воздевал руки, ладонями будто обнимая их всех до единого. Довольно нас презирали и порочили. Обращались с нами хуже, чем с грязнейшей скотиной. Заковывали, жгли, клеймили. Довольно погибельной торговли кровью и костью. Услышьте скорбный плач рынка рабов. Прислушайтесь к звону цепей. Услышьте их, говорил он. Подойдите ближе. Вслушайтесь. Три миллиона голосов!

После речи церемониймейстер Дублинского замка уцепился за его локоть, дыша в ухо перегаром и изумлением. Он никогда не слыхал такой речи, столь замечательно подобранных слов. Надо же – как человек способен говорить! Глубоко, пояснил он, проницательно, весомо, ему никогда не приходилось слышать ничего подобного.

– Вы, сэр, делаете честь своей расе. Великую честь.

– Вы так считаете?

– И вы никогда не учились в школе, сэр?

– Нет. Не учился.

– И не брали уроков?

– Нет.

– Но, если позволите…

– Да?

– Как вы объясните подобное красноречие?

Тугой узел свернулся у Дагласса в груди.

– Подобное красноречие?

– Да? Как это…

– Вы извините меня?

– Сэр?

– Мне пора бежать.

Дагласс пересек комнату, громко щелкая подошвами, на ходу расплываясь в улыбке.

---

[13] «Колумбийский оратор» (*The Columbian Orator*, 1797) – сборник стихов, эссе, фрагментов публичных выступлений и т. д., составленный американским автором учебников Кейлебом Бингэмом и широко использовавшийся для преподавания риторики школьникам.

Под вечер он замечал Лили – та прибиралась на верхнем этаже. Всего семнадцать лет. Песочные волосы. Глаза в окантовке веснушек.

Закрыл дверь, сел писать. Перед глазами – ее силуэт. Дагласс пропустил ее вперед на лестнице. От нее повеяло табаком. Мир снова стал обыкновенным. Дагласс поспешно спустился в салон, где принялся за литературные журналы, на которые подписывался Уэбб; горы книг и журналов. В них можно потеряться.

Над головой звучали шаги Лили. Когда смолкли, он обрадовался. Вернулся наверх, сел писать. В спальне ни пылинки, гантели на месте.

Из банка на Колледж-грин отправили в Бостон поручение – положить 225 фунтов стерлингов на счета Американского общества борьбы против рабства. То есть 1850 долларов. Дагласс и Уэбб явились в жестких шерстяных пальто и белых льняных сорочках. Над Дублином летали чайки – толпами, как побирушки. На задах скандирующей толпы он разглядел мальчика с красной сыпью на шее и лице.

– Эй, мистер Дагласс! – заорал мальчуган. – Мистер Дагласс, сэр!

Когда карета свернула возле университета, Дагласс отчетливо расслышал, как мальчуган запустил в воздух имя без фамилии.

Газеты трубили о том, что перед гигантской толпой у дублинских верфей выступит О’Коннелл. Народный трибун. Подлинный сын Ирландии. Всю жизнь агитировал за католическую эмансипацию и парламентское правление, про отмену рабства тоже писал. Блестящие сочинения – пылкие, страстные. О’Коннелл всей жизнью своей рискнул ради подлинной свободы, прославился своими речами, писаниями, главенством закона.

Чтобы успеть к началу Дагласс отменил чаепитие в Сандимаунте. Катил вдоль многолюдных доков. Невообразимая толпа: сюда словно выжали весь Дублин, как губку в раковину Целая раковина живых ножей и вилок. Полиция по краю сдерживала толпу. Дагласс потерял Уэбба и протолкался вперед, к сцене, как раз когда появился О’Коннелл. Великий Освободитель – грузный, усталый, кислый: по всему судя, таков с самого освобождения из тюрьмы[14]. И однако же толпа взревела. *Мужчины и женщины Ирландии!* Шум стоял оглушительный. О’Коннелл взял рупор и заговорил – стрелял в небо словами, огромными, грозными, налитыми до краев. Речь потрясла Дагласса – логика, риторика, юмор.

О’Коннелл обнимал толпу колодцем протянутых рук. Подавался вперед. Обуздывал пыл. Разворачивался на каблуках. Расхаживал по сцене. Поправлял парик. Держал паузы. Речь его передавали другие – они стояли на высоких стремянках и посылали слова дальше, вдоль доков.

– Расторжение унии – право Ирландии и наказ Господа!

– Оглядитесь: Англия низвела наш народ до неволи!

– Применение силы не есть наша цель!

– Объединяйтесь, агитируйте, восстаньте со мною вместе!

В смрадном воздухе взлетели шляпы. Приветственные крики ритмично шагали над толпой. Дагласс словно к месту прирос.

Потом ирландца окружила громадная ватага. Дагласс протолкался ближе, с извинениями протиснулся мимо десятков пар плеч. О’Коннелл поднял глаза, мигом понял, кто перед ним. Они обменялись рукопожатием.

– Большая честь, – сказал О’Коннелл.

Дагласс опешил.

---

[14] Дэниэл О’Коннелл был арестован в 1843 г. после проведения ряда массовых митингов за отмену Англо-ирландской унии, приговорен к году лишения свободы, но отпущен спустя три месяца по требованию Палаты лордов.

– Исключительно для меня, – ответил он.

Ладонь О’Коннелла вырвалась из его руки. Даглассу столько всего хотелось обсудить: расторжение унии, пацифизм, положение ирландского духовенства в Америке, философию агитации. Он снова потянулся за рукой ирландца, но их уже разделяло слишком много тел. Его отталкивали, пихали. Какой-то человек заорал ему в ухо про умеренность. Другой требовал подписи под петицией. Какая-то женщина отвесила книксен; от нее дохнуло грязным амбре. Дагласс отвернулся. Под десятками углов налетало его имя. Дагласса словно крутило в водовороте. О’Коннелла уводили со сцены.

Когда Дагласс снова повернулся, Уэбб цепко взял его за локоть, сказал, что у них назначено на Эбби-стрит.

– Одну минуту.

– Боюсь, нам пора, Фредерик.

– Но я должен с ним поговорить…

– Уверяю вас, представится еще немало возможностей.

– Но…

Дагласс перехватил взгляд О’Коннелла. Они кивнули друг другу. Дагласс посмотрел, как ирландец уходит. Сутулится в ярко-зеленом пальто. Платком отирает лоб. Парик слегка съехал. Некая смутная грусть. Но – обладать такой властью, подумал Дагласс. Таким обаянием. Такой энергией. Столь великолепно царить на сцене. Пробуждать справедливость без насилия. И как слова его до мозга костей прошибали народ, что еще не разошелся из доков, болтался, точно мусорные ошметки на воде.

Спустя два дня в Зале примирения О’Коннелл вывел его на сцену, воздел его руку в воздух: *Перед вами*, сказал он, *чернокожий О’Коннелл!* Дагласс смотрел, как к стропилам взметаются шляпы.

– Ирландцы и ирландки…

Он взглянул на эту человеческую свалку. Сплошь мерзость и низкопоклонство. Я благодарен, промолвил он, за честь выступить перед вами. Воздел руки, угомонил толпу, заговорил о неволе и торговле, о лицемерии и необходимости отмены рабства.

Приток энергии. Огонь. Он слышал, как бежит по толпе рябь его слов.

– Взглянув на одного-единственного человека, – сказал он, – вы узрите все человечество. Зло, причиненное одному, причиняется всем. Никакой силе не заточить в темницу добро и справедливость. Отмена рабства станет естественным течением мысли нашего мира!

Он расхаживал по сцене. Плотнее запахивал пиджак. Он еще никогда не видел такой аудитории. Она глухо ворчала. Он выдержал паузу. Затем кулаком вбил в них свои тезисы. Всем телом потянулся к ним. Поискал их глаза. И все же чувствовал дистанцию. Тревожно. Меж ключиц собралась капля влаги.

С галерки донесся крик. А как же Англия? Он не осуждает Англию? Англия ведь тоже рабовладелица. Разве нет наемного рабства? И оков капиталистического гнета? И подпольной дороги, по которой всякий ирландец с радостью бежит от английской тирании?

На галерку двинулся полицейский, заостренная каска исчезла. Смутьяна быстро утихомирили.

Дагласс выдержал еще одну долгую паузу. Я верю в дело Ирландии, произнес он затем. Внизу гребнем волны закивали головы. Он понимал: тут нужна осмотрительность. Под сценой стоят газетчики, записывают каждое слово. Опять придем к Британии и Америке. Он поднял руку. Слегка повертел ею в воздухе.

– Что думать нам о государстве, кое бахвалится свободой, – произнес он, – но заковывает в кандалы свой народ? Самой судьбою начертано, что свобода станет всемирной. У человечества одна задача на всю планету.

Облегчение затопило его, когда толпа зааплодировала. О'Коннелл вышел на сцену и вновь воздел руку Дагласса, повторил: *чернокожий О'Коннелл!* Дагласс поклонился и глянул вниз: в первых рядах Уэбб грыз ручку лорнета.

За ужином на Досон-стрит он сидел подле лорд-мэра, но отклонял стул назад, чтобы поговорить с О'Коннеллом.

Вечером они вместе прогуливались в саду резиденции, торжественно шагали меж позимнему стриженных розовых кустов. О'Коннелл слегка сутулился, руки сцепил за спиной. Ему жаль, сказал О'Коннелл, что он не может больше и непосредственнее помочь Даглассу и его народу Ему тяжко слышать, что среди рабовладельцев Юга столько ирландцев. Трусы. Предатели. Позор национального наследия. Он не допустит, чтоб они бросали тень на него. Они отравлены, привезли свой яд с собою, опозорили свой народ. Да не ступит наша нога в их церкви. Они принесли присягу ложного превосходства.

О'Коннелл схватил Дагласса за плечи и сказал: однажды я убил человека. На дуэли, в Кильдаре. Во имя защиты католической гордости. Выстрелил ему в живот. Остались вдова, ребенок. Это мучит меня по сей день. Я больше никого не убью, но по-прежнему готов умереть за веру: человек свободен, только если живет ради дела свободы.

Они серьезно беседовали о положении в Америке, о Гаррисоне, Чэпмен, президентстве Поука[15], перспективе выхода южных штатов из Союза.

О'Коннелл был многогранен, но Дагласс чуял в великом человеке тайное истощение. Точно слишком тяжелы все те вопросы, что он нес по жизни, – незаметно въелись в плоть, застряли в теле, пригибали к земле.

Он чувствовал ладонь О'Коннелла у себя на локте, в тишине между шагами слышал трудное дыхание. Худой человек бродил вдоль дальней границы сада, постукивая по часам, что свисали на цепочке из жилетного кармана.

О'Коннелл отослал человека прочь, но Даглассу почудилось, будто он впервые в жизни распознал мелкое поражение славы.

Говорят, что история выступает на стороне разума, но подобный исход отнюдь не гарантирован. Очевидно, что будущее всемирное счастье, если таковое достижимо, никогда в полной мере не искупит страданий прошлого. Зло рабовладения – постоянная, неискоренимая реальность, однако рабовладение само по себе должно быть запрещено! Истина неотложна. Момент истины настал!

Карета готова; октябрь, пора отправляться с лекциями на юг. Одежду вычистили. Бумаги обернули клеенкой. Уэбб велел слугам накормить и напоить лошадей. Дагласс наклонился за сундуком – хотел отнести сам. Новые книги, новая одежда, гантели.

– Что у вас там такое? – спросил Уэбб.

– Книги.

---

[15] Уильям Ллойд Гаррисон (1805–1879) – американский журналист, аболиционист и суфражист, один из основателей Американского общества борьбы против рабства, сторонник немедленной и бескомпромиссной отмены рабства, непротивления и моральной пропаганды; его дружба с Фредериком Даглассом на много лет прекратилась, так как последний в итоге пришел к выводу, что Гаррисон чрезмерно радикален. Мария Уэстон Чэпмен (1806–1885) – американская аболиционистка, центральная участница Американского общества борьбы против рабства, соратница и корреспондентка Ричарда Уэбба. Джеймс Нокс Поук (трад. Полк, 1795–1849) – 11-й президент США (1845–1849), демократ, сторонник территориальной экспансии; при Поуке произошла аннексия Техаса (1845), а впоследствии и Американо-мексиканская война (1846–1847) – события, которые аболиционистам виделись инструментом получения дополнительной рабской силы.

– Позвольте мне.

Дагласс вцепился в сундук.

– Вроде тяжеловат, старина.

Дагласс постарался изобразить легкость. Туго натянулись мускулы спины. Уэбб мимолетно ухмыльнулся. Позвал кучера, Джона Крили. Тщедушный, худощавый, с изнуренным лицом нешуточного пьяницы. Втроем закинули сундук на полку позади кареты, привязали бечевой.

Дагласс жалел, что поволок с собой гантели. Опрометчиво. Боялся, что Уэбб усмотрит в нем тщеславие.

Познакомившись ближе, они друг друга невзлюбили. Уэбб напыщен, полагал Дагласс. Нетерпим, обидчив, одержимо праведен. Раздосадовался, получив счет от портного. Вычел стоимость жилета из книжных гонораров Дагласса. Скаредный какой-то. Дагласс чувствовал, как Уэбб наблюдает почти неотрывно, ждет, когда гость споткнется. Дагласс боялся превратиться в диковину. Его наколют на булавку. Проведут наблюдение. Анатомируют. Дагласс ненавидел, когда его зовут «старина». Напоминало о полях, о плетях, о ножных браслетах с шипами, о драках в амбаре. И к тому же деньги – Уэбб собирал их, дабы затем пожертвовать на правое дело в Америку. Каждый вечер спрашивал Дагласса, получил ли тот частные пожертвования. Это раздражало. Дагласс с преувеличенной церемонностью опустошал карманы, рывком их выворачивал, тряс.

– Видите? – говорил он. – Я по-прежнему всего лишь бедный невольник.

Но Дагласс сознавал и собственные изъяны. Временами бывал резок и безрассуден, судил поспешно. Надо учиться терпимости. Он понимал, что Уэбб не добивается финансовой выгоды, и нельзя не признать, что ирландец, похоже, раскаивался, если временами говорил с чернокожим озлобленно.

Затянули бечеву на сундуке. Слуги вышли попрощаться. Лили порозовела, когда Дагласс подошел пожать ей руку. Шепнула, что знакомство с ним – величайшая честь. Она надеется, что однажды они встретятся вновь.

За спиной кашлянули.

– Солнышко скоро сядет, старина, – заметил Уэбб.

Дагласс снова пожал всем руки. Слуги никогда не видали, чтобы гость так поступал. Смотрели вслед, пока карета не проехала по Грейт-Брансуик-стрит и не исчезла за колледжем.

Ходили слухи о картофельной гнили, но земля за городом казалась здоровой, зеленой, прочной. Под Грейстоунз остановились на холме поглядеть на великолепную игру света по кромке Дублинского залива. Вдали появились радуги – переливались над береговой полосой, усеянной красными водорослями.

Уэбб и Дагласс по очереди ехали на козлах спереди, подле Крили. Страна потрясала. Цветущие изгороди. Галоп ручейков. В дождь сидели друг против друга в карете, читали. Временами наклонялись, стучали визави по коленке, декламировали пассаж вслух. Дагласс перечитывал речи О’Коннелла. Изумляла гибкость разума. Кивок всемирному. Дагласс размышлял, доведется ли встретиться с О’Коннеллом снова, побеседовать подольше, отдать Великому Освободителю собственные идеи в ученичество.

Карета подскакивала на изрытых дорогах. Немногим быстрее дилижанса или двуколки. К удивлению Дагласса, выяснилось, что южнее Уиклоу железных дорог пока не водится.

Предвечерья лавиной желтизны растекались по холмам. Небесные ставни внезапно растворялись и затворялись. Качкая яркость, затем снова темень. Была в этом краю некая шероховатая невинность.

Когда он сидел впереди на козлах, люди выходили из домов поглазеть. Хлопали его по плечу, жали руку, осеняли крестом. Порывались поведать ему о хозяевах земель, об отсутствующих землевладельцах, об английских зверствах, о далеких любимых, но Уэббу не терпелось ехать дальше: у них же расписание, им надо лекции читать.

Детишки бежали по дороге за каретой, нередко целую милю, а потом их, таких ломких, проглатывал пейзаж.

Уиклоу, Арклоу, Эннискорти; он рисовал маршрут в дневнике. Отмечал, что в стране и впрямь витает намек на голод. По вечерам владельцы пансионов извинялись за отсутствие картошки.

В Уэксфорде он стоял на верху лестницы в Зале собраний. От глаз сокрыт, но видел весь лестничный марш; этажом ниже поставили стол, и афиша с его портретом трепетала на стене под сквозняком.

Поглядеть на него пришли местные мелкие дворяне. Изысканно одетые, любопытные, терпеливые. Тихо расселись, сняли шарфы, подождали, пока он сойдет. Его слова разбередили их – «Верно говорите! – кричали они. – Браво!» – а после выступления они выписывали разве что векселя, обещали организовать ярмарки, праздники, распродажи пирогов, послать деньги за Атлантику.

Но когда Дагласс вышел на улицу, кожу словно окорябало ножом. Улицы забиты ирландской беднотой, католиками. Все взвинчены обреченностью. Поговаривали о читальнях для сторонников расторжения унии, о тайных дебатах. Сожженных домах. Среди этих людей его переполняли тревога и восторг. Паписты смешливы, склонны к кутежам, высокой печали, собственным клише. Уличный артист танцевал в шутовском колпаке с колокольчиками. Дети вразнос торговали нотами баллад. Женщины раскуривали глиняные трубки. Хотелось остановиться на улице, экспромтом произнести речь, но гостеприимные покровители подталкивали его вперед. Оглядываясь через плечо, он будто смотрел в недорытую канаву.

Его вели долгой улицей меж величественных дубов к огромному особняку. В окнах свечи. Слуги в белых перчатках. Он подмечал, что вокруг в основном английские акценты. Члены магистрата. Землевладельцы. Мелодичные, осведомленные, но когда он спрашивал о голоде на улицах, ему отвечали, что в Ирландии всегда голод. Такая страна – любит болеть. Ирландцы сами себе на головы сыплют горящие уголья. Не умеют потушить огонь. Полагаются на других, как обычно. Никакого понятия о самостоятельности. Горят, а потом опрокидывают на себя пустые ведра. Вечная история.

Беседа петляла. С ним заговаривали о демократии, собственности, естественном порядке, христианском императиве. На большом серебряном подносе подали вино. Он вежливо отказался. Хотел расспросить о слухах касательно подпольных движений. Некоторые лица погрустнели. Может, ему подробнее расскажут о католической эмансипации? Они читали пылкие диатрибы О'Коннелла? А это правда, будто некогда ирландским арфистам вырывали ногти, чтоб они не могли играть? Отчего ирландцев лишили их языка? Где тут защитники бедноты?

Уэбб за локоть увел его на веранду и сказал:

– Однако, Фредерик, нельзя ведь кусать кормящую руку.

В уэксфордскую ночь просеяны звезды. Конечно, Уэбб прав. Альянсы неизбежны. Столько сторон у всякого горизонта. Выбрать можно лишь одну. Все разом не вместит

разум. Правда, справедливость, реальность, противоречие. Возможны недопонимания. У него лишь одно дело жизни. За него и надо цепляться.

Он расхаживал по веранде. Холодный ветер хлестал воду.

– Вас ждут, – сказал Уэбб.

Он пожал руку Уэббу, вернулся в дом. Комнату обдало холодом из открытой двери. Кофе пили из фарфоровых чашечек. Женщины сгрудились вокруг рояля. Он выучился играть Шуберта на скрипке. С головой погружался в адажио; даже в медлительности своей ловкость его пальцев восхищала их.

Они держали путь на юг. Прямо за рекой Барроу свернули не туда. Заехали в глушь. Проломанные заборы. Замковые руины. Болото за болотом. Лесистые мысы. Над хижинами поднимался торфяной дым, липкий и хлипкий. На слякотных тропах шевелилось тряпье. Казалось, оно живее, чем тела внутри. Карета ехала мимо, и семьи провожали ее взглядами. Дети от голода одичали.

У обочины горела хижина. Дым вырастал словно из-под земли. В полях, под чахлыми деревцами, мужчины недобро глядели вдаль. У одного губы измазаны бурым клейстером – возможно, ел древесную кору. Равнодушно посмотрел, как мимо катит карета, затем поднял посох, точно сам с собою прощался. Заковылял через поле, по пятам за ним потрусила собака. Он упал на колени, встал, зашагал прочь. Смуглая девушка собирала ягоды в кустах; все платье в красном соке, будто ее рвало этими ягодами, одной за другой. Девушка криво улыбнулась. Ни одного зуба во рту. Она твердила одно и то же по-ирландски; похоже, молилась.

Дагласс вцепился в локоть Уэбба. Того как будто мутило. Горло бледное. Говорить он не желал. Вся земля провоняла. Прокисла почва. Зараза источала гнилостный запах. Весь картофельный урожай погиб.

– Они только этим и питаются, – сказал Уэбб.

– Но почему?

– У них больше ничего нет.

– Да быть такого не может.

– Все остальное они требуют у нас.

Мимо проскакали британские солдаты; копыта забрызгали изгородь грязью. Красные кокарды на зеленом. Точно брызги крови на земле. Солдаты юны и перепуганы. В глубинке витал мятежный дух; даже птицы как будто скулили на деревьях. Вроде бы слышался волчий вой, но Уэбб сказал, что последнего волка пристрелили полвека назад. Кучер Крили захныкал – мол, вдруг это банши.

– Ой, оставь эти глупости, – отвечал Уэбб. – Правь!

– Но, сэр…

– Правь, Крили.

Заехали в поместье, спросили, нельзя ли накормить лошадей. На воротах трое караульных. За плечами – каменные соколы. В руках караульных лопаты, но черенки остро заточены. Землевладельцы в отсутствии. Имел место пожар. Дом тлел. Никого не пропускали. Им строго наказано. Караульные глядели на Дагласса, старались скрыть изумление при виде негра.

– Убирайтесь, – велели они. – Сию же минуту.

Крили повел карету дальше. Дороги змеились.

Высоко вздымались изгороди. Угрожающе надвинулась ночь. Лошади замедлились. Похоже, загнаны. На длинных мордах – сталактиты слюны и пены.

– Шевелись уже, будь любезен, – крикнул Уэбб из кареты, где сидел, коленями упираясь в колени Дагласса.

Под древесным пологом карета со скрипом замерла. Подступила тишина. Под приглушенное шарканье копыт раздался женский голос. Женщина как будто читала благословение.

– Что такое? – окликнул Уэбб.

Крили не ответил.

– Пошевеливайся, любезный, темнеет уже.

Но карета с места не тронулась. Уэбб пнул низ дверцы, вышел из каретного нутра. Дагласс следом. Они очутились в черной лесной бане. На дороге разглядели холодный и зернистый женский силуэт: серая шерстяная шаль, обрывки зеленого платья. Накинув веревку на плечи, женщина тащила за собой малюсенькую вязанку хвороста.

На вязанке лежал белый сверточек. Женщина взглянула на них. Глаза засияли. Мучительная боль перехватила ей горло.

– Поможи́те моей детушке, сэр? – попросила она Уэбба.

– Что вы сказали?

– Да благословит вас Господь, сэр. Поможйте моей детушке?

И она подхватила ребенка с вязанки.

– Боже праведный, – сказал Уэбб.

Из свертка выпросталась рука. Женщина запихала ее обратно в тряпье.

– Ради Господа, детушка хочет кушать.

Поднялся ветер. Они слышали, как хлещут друг друга ветви.

– Возьми, – сказал Уэбб и протянул ей монету.

Женщина не взяла. Лишь склонила голову. Словно узрела на земле под ногами собственный стыд.

– Она же ничего не ела, – сказал Дагласс.

Уэбб снова порылся в кожаном кошельке и выудил шестипенсовик. Но она все равно не взяла. Прижимала дитя к груди. Мужчины застыли. Их охватил паралич. Крили отвернулся. Дагласс чувствовал, как сам оборачивается дорожной тьмою.

Женщина сунула им ребенка. Шибануло смертной вонью.

– Возьмите ее.

– Мы не можем ее взять, мэм.

– Умоляю, вашство. Возьмите.

– Мы правда не можем.

– Молю вас, тысячу раз, да благословит вас Господь.

Руки женщины всползали к шее двумя веревочками. Она снова выпростала детскую ладошку, растерла мертвые пальчики. Изнутри запястье уже темнело.

– Возьмите ее, умоляю, сэр, она кушать хочет.

И она снова сунула им мертвое дитя.

Уэбб уронил к ее ногам серебряную монету, развернулся; руки тряслись. Взобрался на деревянные козлы к Крили.

– Поехали, – сверху сказал он Даглассу.

Тот подобрал грязную монету и вложил женщине в руку. Женщина даже не взглянула. Монета выскользнула из пальцев. Губы ее шевелились, но она не промолвила ни слова.

Уэбб стегнул поводьями по спине лошади, затем резко их натянул, будто гнал карету и в то же время стоял.

– Давайте, Фредерик, – позвал он. – Забирайтесь, забирайтесь. Скорее.

Они поднажали. Болотами, прибрежьями, долгими лугами невероятной зелени. Холод распахивал объятья. Остановились купить еще одеял. И безмолвно помчались во тьме вдоль берега. Наняли человека, чтоб ехал впереди с фонарем до самого постоялого двора. Шарик света рельефно выписывал деревья. Через восемь миль человек отстал: на дороге не встре-

тилось открытых постоялых дворов. Они вместе съежились в карете. Мертвое дитя не поминали.

Зарядил дождь. Небо нисколько не удивилось. Миновали бараки, где солдаты в красных кителях охраняли зерновую поставку. Там разрешили накормить и напоить двух лошадей. На дороге под Иолом стоял старик, швырялся камнями в темнокрылого грача на дереве.

С голодом ничего не поделать, сказал Уэбб. Человеку не достичь всего: нам не удастся оздоровить поля. Подобное случается в Ирландии нередко. Таков закон этого края – неписаный, неизбежный, чудовищный.

По осеннему холоду они вдоль причалов прикатили в Корк. Ясный вечер. Ни ветерка. Громадное сырое оцепенение. Брусчатка блестела чернотой.

Карету подвели к номеру 9 по Браун-стрит, где обитало семейство Дженнингсов. Красивый каменный дом, вдоль узких тропинок – розовые сады.

Дагласс распахнул дверцу. Он совершенно вымотался. Шел так, будто внутри поломалась ось. Хотелось только лечь в постель. Заснуть не удавалось.

Чернокожая девушка. Убежала. Отзывается на имя Артела. Над глазом небольшой шрам. Многие зубы отсутствуют. На щеке и лбу заклеймена буквой «А». Шрамы на спине, на ногах не хватает двух пальцев.

Продается. Сильный цветной мужчина Джозеф. Умеет плотничать. Также продаются: кухонные принадлежности, собрание теологической литературы.

Продаются срочно: семеро негритянских детей. Сироты. Воспитаны. Хорошо выглядят. Прекрасные зубы.

Он сошел вниз с зажженной свечой на узорчатом блюдце. Огарок кривил его тень. Дагласс видел себя многообразно: высоким, низким, длинным, страшным. Слегка поскользнулся на лестнице. В арочном витраже над парадной дверью виднелись звезды.

Подумал было прогуляться, но куда ему гулять в ночном белье? Босиком зашагал меж деревянных панелей коридора, вошел в библиотеку. Одни сплошные книги. Долгие вереницы полемических позывов. Он провел по ним рукой. Чудесные кожаные переплеты. Ряды зеленого, красного, бурого. Золотое и серебряное тиснение на твердых корешках. Он поднял свечу, медленно повернулся, глядя, как блик перелетает с полки на полку. Мор, Свифт, Спенсер. Поставил свечу на круглый столик, шагнул к стремянке. Шеридан, Байрон, Филдинг. Дерево холодило подошвы. Стремянка стояла на колесиках, цеплялась к латунной перекладине. Он взобрался на вторую ступеньку. Оказалось, если взяться за полку, стремянку можно сдвинуть. Поначалу катался медленно, туда-сюда. Затем быстрее, безрассуднее, а затем убрал руку.

Надо бы потише. Скоро дом начнет просыпаться.

Дагласс снова оттолкнулся от полки, поехал вдоль книжных рядов. Взобрался еще на одну ступень. Выше. В библиотеке попахивало свечным жиром. Огарок захлебнулся. Мысли Дагласса обратились к его маленьким детям. Они бы разрешили, подумал он. Они бы не осудили его – ужасно серьезного отца, что катается на стремянке мимо окна, и солнце встает над причалами Корка, и звезды почти угасли, и заря раззявилась в прорехе штор. Он попытался вообразить их здесь, в доме с высокими книжными шкафами.

Он спрыгнул со стремянки, забрал блюдце с огарком, приготовился красться по лестнице, и тут скрипнула дверь.

– Мистер Дагласс.

Изабел, одна из дочерей, двадцати с небольшим лет. В простом белом платье, волосы высоко заколоты.

– Доброе утро.

– Да, чудесное, – сказала она.

– Я тут на книги смотрел.

Она покосилась на стремянку, будто уже все поняла.

– Подать вам завтрак, мистер Дагласс?

– Спасибо, – ответил он, – но я, наверное, вернусь в постель. Боюсь, поездка выжала из меня все соки.

– Как вам угодно. Вы ведь знаете, что слуг у нас в доме нет?

– Простите?

– Мы сами себя обслуживаем.

– Счастлив слышать.

Он уже понял, что эти друзья Уэбба – необычайные люди. Владельцы уксусного завода. Церковь Ирландии. Достаток напоказ не выставляли. Дом скромен. Открыт любым гостям. Потолки низки везде, помимо библиотеки, словно человеку надлежит склонять голову повсюду – но не в обиталище книг.

Изабел глянула в окно. Солнце проступало над краткой линией деревьев в глубине сада.

– И как вам наша страна, мистер Дагласс?

Удивительная прямота. Интересует ли Изабел отвага откровенности? Сельская глушь ужаснула его, он редко сталкивался с такой нищетой, даже на американском Юге, ему и сейчас затруднительно это постичь.

– Для меня большая честь оказаться здесь, – ответил он.

– А для нас большая честь принимать вас. Приятная вышла поездка?

– Мы ехали проселками. Многое увидели. Местами очень красиво.

В тишине она подбрела к окну. Выглянула в сад, где, гибко опираясь на деревья, все выше взбирался свет. Дагласс видел, что у нее на языке вертятся слова. Она пощупала край шторы, намотала ниточку на палец.

– Надвигается бескормица, – наконец произнесла Изабел.

– Должен признать, порой путешествие навевало уныние.

– Поговаривают о голоде.

Он снова вгляделся. Изабел была худа и простовата, отнюдь не красавица. Глаза ярко-зеленые, размытый профиль, естественная манера. Никаких украшений. Никакой суеты. Аристократический акцент. Вряд ли такая женщина распахнет настежь окна мужского сердца, однако что-то в ней было такое, отчего воздух между ними ярко окрасился.

Дагласс рассказал ей о мертвом ребенке на дороге. Заметил, как слова проникают в ее глаза, поселяются в ней: дорога, вязанка, оброненная монета, древесный полог, и как вокруг падал свет, когда они уезжали. История отяготила ее. Изабел так туго намотала обтрепанную ниточку, что кончик пальца распух.

– Я пошлю кого-нибудь ее поискать. На дороге.

– Вы очень добры, мисс Дженнингс.

– Помогут ей похоронить ребенка.

– Да.

– Но пока вам надо отдохнуть, мистер Дагласс, – сказала она.

– Благодарю вас.

– А потом дозвольте нам с сестрами показать вам город. В Корке есть чем гордиться. Увидите.

Он слышал, как завозился дом, как наверху скрипят половицы. Слегка согнул стан, попрощался, вышел в коридор. Он устал, но предстояла работа: письма, статьи, еще одна попытка штурмом взять предисловие. Его книгу переиздавали. Предисловие – упражнение на равновесие. Нащупать уместное напряжение. Канатоходец. Он больше не станет лебезить. Он взошел по лестнице, ступил в спальню, развернул страницы, собрался редактировать. Достал гантели. Головой уперся в стол. И начал разом махать гантелями и читать, махать и читать.

Вскоре услышал цокот копыт за окном. Изабел скакала по гравийной дороге. Из высокого окна он глядел, как она удаляется, пока ярко-синее пальто не превратилось в крапинку.

Ковры были роскошны. Подушки постираны. Хозяева дома срезали свежие цветы, поставили на окно, где те кивали на ветру. На тумбочке у кровати Библия. «Путеводитель по миру птиц и животных». «Шарлотта, правдивая история». «Векфильдский священник»[16]. «Полное собрание псалмов, евангелических гимнов и духовных песнопений». На конторке Дагласс нашел чернильницу, промокашку, пустые тетради.

Какое облегчение – вернуться в привилегированный мир; путешествие по глубинке растревожило его.

Голод. Прежде он не сталкивался с этим словом. Видел бескормицу в Америке, но зараженные земли – никогда. В ноздрях по-прежнему стоял запах. Дагласс наполнил глубокую ванну. Весь намылился. Сунул голову под воду, задержал дыхание, погрузился глубже. Самые шумы этого дома – бальзам на раны; слышно, как в комнатах рикошетит смех. Дагласс вылез из воды, протер запотевшее окно. По-прежнему удивительно видеть крыши Ирландии. Что еще там, снаружи? Какие еще руины? Слышно, как падают листья.

Тише дождя.

Он дописал, убрал гантели, лег на кровать, заложив руки за голову, попытался задремать, не получилось.

Снизу призвали к ужину Он отмыл руки в умывальнике, облачился в свою самую чистую льняную сорочку.

Трапезы подавались в сельском стиле: ряды блюд и мисок, супов, овощей и хлеба стояли на огромном деревянном столе, и все бродили вдоль него, выбирая желаемое. В семействе Дженнингсов, похоже, многие не ели мяса. Дагласс густо намазал хлеб сардинным паштетом, положил салата. Гости у стола толкались и смеялись. Семейство Уэрингов. Райты. Пришли и другие: викарий, таксидермист, соколиный охотник, молодой католический священник. В восторге от знакомства с Даглассом. Прочли его книгу, жаждали обсудить. Судя по всему, дом был открыт любым конфессиям и идеям. Замечательная говорливость. Положение в Америке, позиция аболиционистов, возможность войны, потворство южным торговым законам, ужасные преследования индейцев чероки.

Дагласса, к его удовольствию, осадили. Никаких формальностей, в отличие от дома Уэбба. Беседа петляла под невероятными углами. Прежде редко бывало, чтобы все векторы разговора протекали через него. Уэбб наблюдал с дальнего конца стола.

[16] «Шарлотта, правдивая история» – первое издание романа британо-американской писательницы Сюзанны Роусон «Шарлотта Темпл» (*Charlotte Temple*, 1791), повествование о несчастной девушке, соблазненной солдатом, привезенной им в Америку и брошенной; в первой половине XIX в. роман был бестселлером в США. «Векфильдский священник» (*The Vicar of Wakefield*, 1766) – роман ирландского писателя Оливера Голдсмита, популярный в викторианскую эпоху, история злоключений многочисленного семейства обедневшего викария.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.